

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Апостольская командировка

Странная болезнь, не признаваемая медиками. Наверное, многие носят ее в себе и не подозревают об этом. У большинства она проходит как легкое недомогание, но порой она жестоко калечит, плодя по свету духовных инвалидов и самоубийц. Время излечивает от этой болезни, но не всегда...

Часть первая

Майским утром, когда на московских скверах радостно горела новорожденная листва, асфальт дышал свежей испариной, башня с часами на крыше Казанского вокзала купалась в голубой прохладе обмытого неба, я, протолкавшись целый час в душной, потной, накаленной недоброжелательством очереди, купил билет.

— Куда?..

В билете значилось — Новоназываевка.

О том, что существует на свете такая станция, я узнал уже в очереди, минут за пятнадцать до того, как протянул деньги в окошечко кассы.

За моей спиной шла назойливая, скучная беседа незнакомых мне людей, в ней мелькнуло звонкое слово «Новоназываевка», и я украл его.

— До Новоназываевки, пожалуйста.

Куда еду? Я не знал.

Зачем? Тоже представлял смутно.

Вчера я уволился с работы. По собственному желанию. Заявление, как и положено, подал за две недели. Еще раньше подготовил всех: извините, вынужден.

И прежде я частенько уезжал в командировки. Жена еще долго останется в покойном неведении, не знает, что командировка не кончится, муж сбежал... Так лучше для нее... Так лучше для дочери. Не могу быть ни мужем, ни отцом. Нет теперь у меня ни родных, ни друзей.

Я никого не убил, ничего не украл, не растратил казенных денег. Я не совершил преступления, но бегу, хочу скрыться.

Билет до Новоназываевки. Билет в неизвестность — в никуда. Билет к господу богу, если угодно.

Майское солнце стояло над городом. Не праздник, но люди на улицах одеты чуть-чуть нарядней обычного, чуть-чуть больше смеха, каждый встречный кажется сегодня чуть-чуть моложе. Весна... Видимость возрождения. Один из самых ловких обманов природы, убаюкивающий бдительность человека.

Спешащие прохожие вдруг начали весело оглядываться: по мостовой шел парень, скуластое, юношеское, тощенькое лицо наполовину скрывает борода, не стрижен и не чесан, на воротнике рубахи лежат неопрятные космы. В майский день — овчинная душегрейка, вывернутая мехом наружу, острый мальчишеский зад обтягивают вытертые до лоска джинсы, из-под них — грязные, голодно выглядывающие лодыжки. К одной из лодыжек привязана веревкой пустая консервная банка — дребезжаще погромыхивает на каждом шагу. Скучноватое презрение во вздернутых плечах, тепло укрытых свалывшимся мехом, презрение и независимость под бородой, и что ни шаг, то кухонный звон, словно обронули

кастрюлю.

— Что за чучело?

— Битник. И у нас завелись.

— Ну и мода, мать честна!

— Тунеядец перед всеми фасон давит, а милиции чихать.

— Эй, борода, присматривай! Как бы на погребушку не наступили!

А ведь это мой родственник. Жить просто так — нет, не неволь. И консервная банка гремит по асфальту...

Пока только консервная банка. Он еще не дозрел.

Может, никогда и не дозреет. Равнодушное время лучше всего лечит молодых. А я уж не очень молод.

Да, сознаю, что я странно болен, тяжело, почти смертельно.

Я горжусь своей болезнью, мне жаль здоровых людей, не ведающих о моем недуге.

Позвякивала где-то в беспокойной людской чаще удаляющаяся консервная банка. Догнать бы, сказать: я знаю кое-что, по крайней мере это лучше пустой консервки.

Не поверит.

В таких случаях на слово не верят.

Нужно дозреть.

Билет до Новоназываевки...

* * *

Когда и с чего у меня началось?

Пожалуй, с получения квартиры.

Мы с Ингой вошли впервые в свою квартиру, пустынно-светлую, пахнущую тем бравурно-праздничным запахом, который присущ всему новому, будь то новая детская игрушка, новые ботинки, новое пальто.

Мы перешагнули за порог, и я, пораженный, показал Инге на распахнутую дверь, ведущую из узкого коридора в комнату:

— Гляди! Интерьер!

За дверью вглубь уходила стена, плинтус пола вонзался в пространство. А мы привыкли к тесным комнаткам, где стена упиралась глухо в другую стену, где почти не было глубины, и чужеземный термин «интерьер» для нас звучал такой же абстракцией, как постоянная Планка. А здесь перед глазами — мой интерьер, наш интерьер, наше собственное пространство, никто уже не посягнет на него, не прикажет: «Выезжайте!» Мы имеем охраняемое законом свое место на земле.

До этого мы с Ингой снимали комнатки, чуть ли не каждый год новую, переезжали с чемоданами и раскладушкой из одного конца Москвы в другой. Мы ютились у вдовы с тремя детьми за фанерной перегородкой в тесном, как школьный пенал, углу. Мы пребывали в комнате бывшей опереточной актрисы, которая сама постоянно жила на даче у зятя. Нас со всех сторон окружали шкафчики и секретеры с намертво запертыми ящичками, фарфоровые пастухи и пастушки, слоники «на счастье», фотографии опереточной примадонны в расцвете творческих сил, в соблазнительных позах. Мы были скованы грозными запретами: на этот диван не ложиться, на этом столе не обедать, на этом старинном кресле, боже упаси, не сидеть, живи где-то между, дыши с осторожностью. За такую возможность существовать мы обязаны были платить треть заработанных вдвоем денег.

В конце концов нам удалось отыскать изолированную комнату в шесть квадратных метров. Общий длинный темный коридор, двери, двери по обеим сторонам, ведущие в такие же, как наша, клетушки. Уборная, похожая на вокзальную, этажом ниже, а общая кухня напоминала доисторическую племенную пещеру. В ней с непривычки можно легко заблудиться среди густо навешанных простыней и кальсон. Мы с Ингой год наслаждались

покоем — наши покладистые хозяева обитали в соседнем доме по этой же улице, регулярно брали плату, ничем больше не интересовались, запретами не связывали. На откупленных шести квадратных метрах мы могли делать все, что хотели, — читать, писать, приглашать гостей, спорить...

Именно в то время у Инги появилась гитара, именно в то время по Москве впервые зазвучал голос Булата Окуджавы. Он не пел с эстрады, и афиши с его именем не развешивались по заборам, он пел в кругу близких друзей, и песни его выходили на улицу, добирались через длинный и темный коридор до нашей тесной комнатухи. Перекинув ногу на ногу, подняв плечо, недоуменно подняв одну бровь, с горячим румянцем на лице (только что стояла у плиты, жарила гостям яичницу) Инга «баритонствовала» под Окуджаву.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорожкой, как твои глаза, —
Две вечерних звезды — голубых моих судьбы...

У Инги глаза серые в голубизну — две вечерних моих звезды. Я любовался ею.

Но через год у нас родилась дочь. И ни читать, ни писать, ни встречаться с гостями — пеленки, ночные горшки, ванночки для купания, детский крик, бессонные ночи. И гитара забыто висит на стене, и где-то поет Окуджава новые песни, но они уже не пробиваются к нам. Все книги втиснуты под стол — мешают. Постоянно мешаю и я, мне нет угла, куда бы я мог забиться. Инга в неряшливом халате, с осунувшимся деревянным лицом, с воспаленными, раздраженно блестящими глазами — «две вечерних звезды — голубых моих судьбы...».

Тогда я почувствовал, какое наказание — люди. Дома для меня не было места, по дороге на работу я должен втискиваться в битком набитый троллейбус, на работе постоянная суета, голоса, голоса, голоса, требующие, спрашивающие, просто нарушающие мое одиночество. Я изредка оставался по вечерам на работе, мог сидеть за столом, ничего не делая, не шевелясь, впитывая целебную тишину. Но это были минуты предательства, дома билась с ребенком Инга... Мне нет места дома, но я необходим там, без меня Инга не может даже выскочить на нижний этаж в уборную, дочь ни на минуту нельзя оставить.

И вот дочь выросла из пеленок, встала на ноги, сделала первые шаги. Нашлась старушка, согласившаяся за ней присматривать. Инга снова пошла на работу. И у меня удачи, меня выдвинули заведующим отделом в журнале, который читают во всех уголках страны. Я еще не член редакционной коллегии, но к моему слову прислушиваются. И наконец-то случилось долгожданное, вымечтанное — нам дают квартиру в новом доме. Две комнаты, обильно заполненные воздухом и светом, третья комната — кухня, только наша кухня, с нашей плитой, никто из чужих не появится здесь, не развесит пеленок.

В первую же ночь, когда Инга с Танюшкой уснули в соседней комнате, я не выдержал, тихонько встал, пробрался в ванную, включил свет. Ванная комната была самой завершенной, уже полностью «меблированной». Она сверкала стенами, облицованными кафельной плиткой, никелем кранов и певучим гляncем самой ванны. На ванну нельзя было досыта насмотреться, взгляд мог скользить и скользить без конца, отдыхая на ровной белизне, покорно следуя текучим изгибам. Без единого острого угла, ласковая, успокаивающая — одухотворенный сосуд. В доме шли еще какие-то доделки, еще не успели подать горячую воду. Я забрался в холодную ванну, сел и просто представил себе эту горячую воду, с морским зеленоватым отливом, заливающую меня...

Тут, ночью, в холодной сияющей ванне я подумал: вот оно, нашел! Кончилась унижительная борьба за существование, из нее я вышел без особых потерь. Здоровье мое не надорвано, ни мое, ни жены, ни дочери. Жену я люблю, она меня тоже. Танюшка греет нас обоих, она уже читает наизусть «Где обедал, воробей?», потешно пляшет «барыню-сударыню», помахивая платочком, приказывая при этом: «Хлопайте все!», по

утрам подымается с постельки всклокоченная, румяная, с сияющими глазами. И работа моя содержательна, интересна, никакой иной не хочу. И десятка два статей у меня на счету... Я нашел основное счастье. Жизнь поставлена на рельсы, теперь остается только катиться вперед.

Ночью в холодной сияющей ванне я обмирал от полноты жизни. Простой душе мнилось простенькое — гладкие рельсы до могилы.

* * *

Билет до Новоназываевки.

Тощие перелесочки, охваченные пожаром обновленной зелени, убегающие по болотам телеграфный столбы, ленивой каруселью просторные поля, перепаханые, влажные, обогретые, грязные проселочные дороги с мающимися на них грузовиками. Наползал и уходил в прошлое будничней мир за немывтым вагонным окном.

Я лежал на верхней полке, а внизу — солидный, как судебное разбирательство, разговор.

Женщина в потертой вязаной кофте, висящей на плоском ссохшемся теле, рассказывала шелестящим голосом:

— Говорю ей: о сынишке хоть заяви, отец он ему как-никак. А она: «Для меня и для сына такого человека нет!» А сама-то, господи! Сына, слова дурного не скажу, обиходит — вправду сказать, картиночка. У самой — глаза одне, я глаже на вид-то, а уж во мне какая гладь, сами видите. Образованная, а туфли драные, рубах нижних нету...

Мы давно уже осведомлены в подробностях нехитрой, уныло привычной и все-таки не до конца понятной истории — семья развалилась. Она, ходящая в драных туфлях, не имеющая нижних рубах, — родная дочь этой иссушенной заботами женщины. Был он, да чем-то не понравился ей, хоть не пил, не буянил, худо-бедно зарабатывал, деньги с получки «до копейки отдавал».

— Его не виню. По всему видать, он не из принципиальных. Принципиальные-то самые вредные — мутят жизнь. Все не так, все с заковыкой, ухо локтем почесать норовят. У меня на них глаз что ватерпас, осечки не дает...

Осуждает категорично увесистый, сытый бас — принадлежит крутоплечему хозяину нижней (подо мной) полки. Это рослый, плотно сбитый человек с мясисто-красным, губастым лицом, водянистыми голубыми глазками. Ему жарко от собственного полнокровия, разделся до майки, открыл обильную веснушчатую плоть, загромоздил яловыми сапогами проход. От него, как от кавалерийской лошади, остро пахнет потом и кожей.

— Ты дочь мало учила, оттого у нее и завелись в голове, что воши, прыщпы. Зудят, покою не дают ни себе, ни людям.

— Как же мало учила? Шестнадцать годов все в учении, институт окончила.

— В институтах жизни не учат. Жизнь родитель преподай. Вот у меня двое — сын пока в школе, дочка, считай, невеста. Они без фокусов-мокусов, сами себя не укусят и другим не дадут. Учил их, не гладил, даже ремнем особо не угощал, сразу усвоили: у отца глаз что ватерпас, осечки не дает.

В густом, проваренном где-то в глубине желудка голосе — железное убеждение, что он, хозяин такого голоса, лучше всех, умнее всех, всех правильнее. Любой и каждый может легко ошибиться, но чтоб ошибся он — пусть в малом, — допустить нельзя, преступно и думать. И это не самовлюбленность, нет, даже не самодовольство, это просто полнейшее отсутствие воображения.

Обычно такие люди обладают могучим здоровьем, незаурядной физической силой. Они никогда в жизни не болели даже насморком, не представляют, что можно испытать не только духовные — где уж! — а даже телесные недомогания, что существует на свете такая вещь, как страдание. У самих не случалось, вообразить не дано, а потому и не должно быть, презирай тех, кто на меня не похож.

И кто осмелится возразить такому? Тот, кто похож, согласится, несхожий, чувствуя к себе искреннее, никак не наигранное презрение, без труда поймет, что возражать бесполезно, нет таких доводов, что сломят железную убежденность: «У меня глаз что ватерпас, осечки не дает». А потому таких людей окружает молчаливое согласие, ничто до них не доносится извне, живут внутри своей на зависть здоровой, непробиваемой плоти, как в глухой темнице. Живут и блаженствуют, бесстрашно радостны.

* * *

Человек, держи себя на узде, страшись радоваться!

Не правда ли, крамольные слова? Не жизнеутверждающие. Обворовывают в самом лучшем.

Страшись!.. Радость летуча.

Я порадовался, что у меня есть чудо-ванна, а на следующий день привык — есть, не могу же я без конца прыгать от восторга, есть, принимаю как должное. Но вот, оказывается, паркет на полу гнется и скрипит под ногами, вчера на это не обратил внимания. Но черт бы побрал строителей! Того и гляди, через неделю паркетины станут выпадать, как гнилые зубы. Как тут не досадовать, как не раздражаться!

А еще позавчера я бегал по малой нужде на другой этаж. Скажи мне тогда, что меня станет расстраивать скрипящий паркет, — рассмеялся бы в лицо: «Не принимай меня за неврастеника!»

Радость летуча, исчезает быстро, но не бесследно, остается восприимчивость к досадным мелочам — уязвимость. Остерегайся излишних радостей в жизни, чем бурней они, тем ты незащищенной от мелочей, пустяки вырастают в проблемы, удачливые люди несомны в первую очередь для самих себя. Бренность мира — в радостях. Это по их поводу сказал Екклезиаст: «Суета сует, все суета».

Лев Толстой в одной повести обмолвился: «Как всегда, не хватало одной комнаты и пятьсот рублей денег». На старом месте мы мечтали — еще бы одну конурку и пятьсот рублей до получки. На новом месте — то же самое: крайне нужна комната для дочки с няней, а уж пятьсот рублей — позарез...

У нас не прибавилось счастья, а забот прибавилось — приходится обеспечивать свою, изо дня в день возрастающую привередливость. Не можем жить на скрипучем паркете, надо вызвать мастера, и хорошего, пусть лучше дороже возьмет. Надо купить и письменный стол, и диван, и холодильник... А купить не так-то просто — бегай, выспрашивай, заводи полезные знакомства, давай «в лапу». И временами оглядываешься: когда же кончатся все эти «надо» и начнется нормальная жизнь? Проклятые мелочные «надо»!

И как они отличаются от тех, какие нависали над нами, когда мы ютились в шестиметровой конуре. Тогда было тоже «надо», но не мастера для скрипящего паркета, не люстру из чешского стекла, не раздвижной диван-кровать... Надо было место на земле, крышу над головой, крайне надо по-человечески жить. Надо! Не исполнись мои желания — сойду с ума, отупею, деградирую. Надо — моя жизнь в опасности, семья в опасности! И я желал со страстью, с неистовством, висящее над головой «надо» было моей путеводной звездой, а не проклятием.

В те дни был убежден: как только большая часть моих «надо» исполнится, немедля сяду за книгу, листов так на двадцать — толстый том научной популяризации. Я уже собирал материал о таинственной силе гравитации, зажигающей звезды во Вселенной, о белых карликах, о нейтронных чудовищах, о теоретически возможных бушующих звездах-невидимках, не способных отбросить от себя ни единого луча. Это должен быть фантастический гимн, пугающий читателя величием природы и дерзостью человеческой мысли. Мне казалось, что подобных книг еще не написано.

Садись! Но нет... Путеводное «надо» разбилось на осколки, и я метался, старался подбирать их — диван-кровать, чешская люстра, мастер-циклевец, — некогда

рассиживаться, выдавай статьи, делай поденщину.

Не скажу, чтоб эта поденщина меня иссушала. Журнал, где я вел отдел, был из числа известных научно-популярных журналов для юношества, который охотно читали и взрослые. Наука в наш век не скучна и не однообразна, нередки сенсации, в которых не сразу разберешься: где кончается реальность и где начинается сказка. Мы писали и о летающих тарелках, и о снежном человеке или же... Некий эксперт по закладу недвижимости Норман Дин изобретает машину, достойную фантазии барона Мюнхгаузена...

Садись за книгу! Пора! Надо!.. Но так ли уж «надо»? Катастрофы не произойдет, если и не напишу, буду жить, как живу — вполне прилично, лучше многих.

Я обрел благополучие, а вместе с ним терял себя. Я перестал испытывать сильные желания, радовался и огорчался как-то не всерьез, суетно.

Благополучие... А собственно, что это такое?

Глупо объяснять его в рублях и копейках. Не обязательно владелец «Москвича» благополучней владельца велосипеда...

* * *

В душном вагоне кончился день.

Земля за окном давно уже выцвела, стала дымчато-серенькой, невнятной. Наконец вспыхнувший в вагоне свет совсем отбросил ее от окна, она словно провалилась. Окно стало непроницаемо черным.

В вагоне шло всеобщее деловое вялое насыщение: шуршали газеты, звенели стаканы и чайники, поглощались на сон грядущий крутые яйца. Где-то в другом конце шумела подвыпившая компания, решала всенародные проблемы футбола:

— Разве Нетто игрок, у него же удар цыплячий. Вот Бобров бил так бил. Пушка! Вратарей замертво уносили.

Внизу сидела пожилая женщина в обвисшей кофте, замороженно глядела в черное окно, наглухо закрывшее землю. Мысли ее известны, страдания понятны и... далеки мне. У меня свое, у нее свое, у подвыпивших болельщиков футбола тоже свое. Тесно сбиты люди в вагоне, но теснота не сближает их — у каждого свое.

Пассажир подо мной не теряет времени, уже храпит внизу. Он и спит, как живет, — громогласно, его храп сокрушительный, жизнеутверждающий.

А поезд трудолюбиво работает, поезд несет всех нас — в разные города, в разные села, к разным судьбам. Меня подальше... от самого себя.

— Не-ет! Таких игроков долго не будет. Севка Бобров с левой и правой посылал снарядики — падай, ежели жить хочешь.

«Футбол — сгусток проблем», — как недавно писала одна газета.

Работает поезд. Люди расположились над людьми, терпеливо сносят вынужденную тесноту, шуршат газетами, жуют, готовятся к ночи.

Ночь надвигается и на меня, забытого, чужого среди чужих. Я боюсь наступления ночи, давно уже боюсь вечеров...

Поезд трудится. Все дальше и дальше мое прошлое. Я знаю, что не усну, мне придется копаться в своем прошлом, из которого я выбросился, как выбрасывается самоубийца из окна.

* * *

Вечер — трагическое время для благополучных.

Вечера, перед самым сном, обычно ничем не заполнены, только собой, а собой ты недоволен, чем дальше, тем больше — ты утомлен собой. От этого становишься раздражительным.

— Ты, кажется, говорил, что у тебя отскочила от пальто пуговица. Дай пришью

заодно, — просит Инга, умеренно заботливая жена.

— Это было три дня назад. Наконец-то просветление в заботе!

— Взял бы да сам пришел.

— Конечно. У меня жена — эмансипе, с высшим образованием!..

Я знаю не одного, а нескольких моих знакомых, которые разошлись с женами после того, как получили новые квартиры. У меня до этого не дошло, но пуговичные трагедии мы переживали часто. И после них я всегда ощущал себя обновленным.

Благополучие еще не счастье, а только гарантия, что хуже не будет. Не кривая, ползущая вверх, а ровная линия. Пуговичная трагедия!.. И ровная линия делала резкий крен вниз, вызывала страх, рождала желание — вернуть утерянное благополучие! Живое желание на минуту омолаживало.

На минуту, и снова ровная линии до следующего пуговичного скандала.

День за днем, каждый вызубрен наизусть. День за днем, шажок за шажком к могиле.

Конечная цель — могила!

Однажды перед сном я читал в каком-то научном журнале статью, ничего особенного — расчеты Фридмана, расширяющаяся Вселенная, галактики, убегающие друг от друга, и, конечно, расстояния — от самой удаленной галактики свет летит шесть миллиардов лет.

Я, сын учителя физики, с детства увлекался астрономией, не назову даже тот день, когда я впервые ужаснулся безбрежности Вселенной.

Был вечер, и я болезненно ощущал все, к чему прикасался. Я сейчас прикоснулся к мирозданию. Меня уже не удивляли его размеры, удивляло другое — насколько оно лениво.

Из дальнего угла до меня свет летит шесть миллиардов лет! Еще не было в проекте Земли, а он уже вылетел. Он пролетел треть пути, а наша планета только-только оформилась. Он пролетел почти весь путь, и тут на Земле вспыхнула жизнь — первые органические капельки в первобытном океане. Он летел, а появлялись и умирали нелепицы докембрия. Он летел, и первая рыба выползла на сушу. Расцвело и исчезло царство неуклюжих ящеров, он летел. Он был уже совсем-совсем рядом, когда волосатая обезьяна сочинила первый каменный скребок, получила право называться человеком. Он падал на Землю со скоростью триста тысяч километров в секунду, а человек выбирался из пещер, создавал государства, строил города, изобретал машины, воевал, подымался на революции, а он все еще падал триста тысяч километров в секунду...

Ленива и необъятна Вселенная, где-то в этой чудовищно косной лени, в вялом застое вспыхнула искорка, нет, не искорка, нечто столь незаметное по сравнению со вселенской ленью, что нельзя принимать в расчет, — моя жизнь. Из черного небытия каких-то тридцать два года тому назад выскочил тот, кого назвали Юрием Андреевичем Рыльниковым, пройдет еще столько же — и снова черное небытие.

Я во Вселенной!

Я появился — свершившийся факт.

А для чего?

Мое «Я», как и «Я» миллиардов других, закончится жалким холмиком земли.

И это так же неоспоримо, как и то, что и данный момент я существую.

Жалкий, бессмысленный холмик земли. Для него живу, к нему иду, не промахнусь — там исчезну.

Конечная цель — могила!

В бескрайней Вселенной нет ничего бессмысленней меня.

Вечер. Скрежет позднего трамвая за окном. Свет в ванной — моется Инга. Журнал со статьей...

Я физически ощущал тесные стены черного небытия, пустынного, равнодушного мрака, из которого я случайно вырвался.

Журнал со статьей... С достойной сдержанностью восхваляется проницательность ума Фридмана, открывшего то, чего не сумел заметить даже сам Эйнштейн.

Открыл, но что?.. Вселенная расширяется. Разве это так уж важно для меня, что она расширяется? Важно для Инги, для самого Фридмана, для всех живущих на земле людей? Открывают что-то, проникают во что-то, истощают мозги, чтоб спрятаться от вопиюще простого, очевидного до ужаса вопроса: для чего, собственно, мы?.. Каждый ребенок натывается на него, а Эйнштейны и Фридманы с профессорской солидностью делают вид, что нет такого вопроса. Они забавляют себя и мир разгадкой побочных шарад — конечна или бесконечна Вселенная, как движется электрон вокруг ядра... Лишь бы убежать, лишь бы не признаться себе в своей собственной бессмысленности.

Какая конечная цель? Каков смысл жизни?

Я, как и все, всю жизнь бегал от этого вопроса. Господи! Белые карлики интересовали меня! Чудовищное легкомыслие! Но в легкомыслии-то и спасение...

Явилась Инга в халате, с мокрыми распущенными волосами.

— Ты слышал, — сказала она, собирая в пучок волосы, — Риточка из девяносто шестой квартиры опять выступила с концертом. На улице слышно было. Выскочили на лестницу — она чуть ли не в нижнем белье, визжит, он пьян, еле на ногах стоит, а уж выраженьица отпускает — волосы дыбом. Соседи, кажется, подают коллективное заявление.

Лицо Инги, широкое вверху, от скул плавно стекает к точеному подбородку, банным румянцем пышет чистая кожа, брови круто изогнуты, в извечном девичьем недоумении, в синеве белков, в тени ресниц влажный блеск глаз, под тонким халатом рельефно означает плотно сбитое тело.

— То какой-то в галстучке хлестал ее по щекам, то этот мальчишка, физиономия не вполне созревшего рецидивиста... Не женщина, а сточная канава, что ни грязней, то к ней течет. А ведь, право, хорошенькая...

Инга осуждает. Очнись! Чем ты в конце концов отличаешься от Риточки? И ты, и она катитесь к одному, велико ли преимущество, что у тебя к могиле более гладкий путь!

* * *

Уж если наступает ночь, если здесь, в вагоне, от прошлого никак не спрячешься, призови то время, какое ты и раньше вспоминал охотно.

Хотя бы для того, чтоб отдохнуть.

Ведь ты страшно устал. Жизнь несносна! Ты тяготился ею, ненавидел ее. Но вот что странно — чем больше ты тяготился, тем чаще с ужасом думал о смерти. С ужасом... Казалось бы, будь последовательным — раз жизнь несносна, то думай о конце с надеждой. Нет, шарахался — изыди!

Ночь в вагоне, уснуть не в силах, но в твоих силах не травить себя памятью. Были же в жизни удачи. Было даже нечто большее — неудачи, которыми потом гордился. И от Инги ты не всегда убегал, а рвался к ней...

* * *

Я заметил ее еще во время поступления в институт. Помню даже платье, в каком была тогда, — с лиловыми разводами, с тесемчатой шнуровочкой на груди, открывающее шею и тронутые загаром руки до самых плеч. Но над легкомысленным девичьим нарядом — матовый, объемистый, выпуклый лоб и глаза темно-серые с охлаждающим блеском. Такая непременно попадет на физмат, из породы Софьи Ковалевской.

Софьи Ковалевской из Инги не получилось, но на физмат тогда она прошла в числе первых.

Я с детства отличался неуравновешенностью. В школе то хорошо учился, то носил «двойку» за «двойкой». Никак не считался лучшим игроком нашей футбольной команды, но мог и «сорваться с вербы» — метался бешено по полю, мяч тогда сам находил меня, прославленный вратарь нашего городишка Донат Тятин не держал ударов. Я запоем читал

Дюма-отца, запоем писал стихи, во время войны запоем выполнял общественные поручения — собирал теплые вещи для фронта, ходил из дома в дом и с жаром доказывал: сними с себя последнее, отдай для победы! Даже в таком умиротворяюще тихом занятии, как коллекционирование марок, меня лихорадило — надоедал знакомым и незнакомым, лазал по чердакам, рылся в бумажном мусоре, отыскивая старые конверты, рассылал письма — пришлите заграничную марку! — не просьба, вопль о помощи.

В институте я сломя голову вязывался во все споры, был шумлив, неистово набрасывался на работы Эйнштейна, чтение которых в те годы никак не поощрялось, Эйнштейна причисляли к идеалистам, правда, не столь настойчиво, как Менделя или Винера. А Инга была рядом, встречался с нею каждый день. Покоем веяло от нее, покоем и сознанием собственного достоинства: «С разгону не подлтай — обморожу!» Этим-то и тянула к себе.

Как-то, проходя мимо конференц-зала, в полуоткрытую дверь я услышал звуки рояля. Зал был пуст и темен, на сцене, над задвинутым в угол инструментом склонилась Инга. Одна. Играет. Под высокий потолок всплывают звуки, старательные, наивные и вдумчивые. Инга пряталась, в эту минуту она была наедине с собой, я — невольный соглядатай и подслушиватель. Я выскочил из зала, как только она встала. И несколько дней жил нечаянно украденными звуками — наивно неумелыми и вдумчивыми. Неумелость подкупала — не мастер, человек, как и все.

А на встрече Нового года я увидел Ингу совсем другой — пела вместе с девочками:

И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать...

Румяная, смешливая, простецкая — своя девка! И счастливое удивление, как в давнем детстве, когда разнял солидную, строгую матрешку и вынул другую — ярко окрашенную, блестящую, легкомысленную, хоть расхохочись.

А на следующий день — охлаживающий взгляд из-под матового лба: «С разгону не подлтай!..»

И я скованными кругами ходил возле нее, обмирал от сознания ее неприступности, от своего еретически дерзкого желания — выпалить все, что скопилось.

Инга!..

Есть же на свете волшебные слова.

Ин-га!

Звонящий звук — и серый мир становится буйно цветным. Ин-га! Мертвым услышу — проснусь, вскочу!

Она касалась ручки двери, и эта железная ручка получала душу, со страхом дотрагивался — груб, могу причинить боль железному.

Кончились лекции, все торопились вниз по лестнице одеваться, а я бежал опрометью к окну на втором этаже, припадал виском к косяку и глядел, ждал, ждал. На улицу выходили студенты и студентки, подымали воротники, натягивали на ходу перчатки, болтали и смеялись. Я ждал и дожидался...

Не похожая ни на кого, появлялась она. И было странно, что остальные выходят, видят ее, болтают друг с другом, смеются своему, не замирают в восторженном смущении. Она же в сером, плотно обтягивающем пальто удалялась легкими шажками — невысокая, стройная, упругое совершенство, исчезающее в необъятном городе.

Но вся-то беда, что исчезала она не одна, рядом с ней вышагивал, как на ходулях, счастливейший из смертных, неприятнейший из людей Игорь Вашковский, долговязый парень с нашего курса, капитан институтской сборной по баскетболу.

Я каждый раз клял себя и досадовал — не побегу больше к окну, хватит, не школьник, стыдись.

Но новое утро приносило новые надежды — а вдруг да случится чудо.

И чудо случилось.

Как всегда, после лекций я бросился к знакомому окну. И остановился... Мое место было занято. Стояла она!

На ее лице мраморное выражение, спина ссутулилась.

Инга! На моем месте, в моем незавидном положении!

Она вздрогнула — внизу за окном показался Игорь, он шел под руку с другой, мне незнакомой — не с нашего факультета.

Тогда я встал рядом с Ингой, плечом к плечу.

— Инга... Это мое место. Я каждый вечер провожал тебя отсюда. Каждый вечер вот уже всю эту зиму... И не отворачивайся, пожалуйста, я заслужил, чтобы меня выслушали!..

Я не просил. Я требовал внимания. Я сообщил, что просыпаюсь с ее именем, засыпаю с ним, что с замиранием сердца касаюсь дверной ручки, после того как на нее бралась ее рука.

Лицо ее утратило мраморность, обмякло, слезы потекли по щекам. Слезы, увы, по другому человеку, меня они обжигали, но не согревали.

Неизвестно, сошлись бы мы, если б на меня не обрушилось несчастье.

Не я один, многие студенты читали то, что не рекомендовалось. Не я один выискивал, где только можно, сообщения о новой науке кибернетике. Не я один запальчиво заступался за Винера — не идеалист, его наука — не лживое буржуазное учение.

Но на очередном собрании почему-то вспомнили меня одного: «Студент Рыльников храбр в коридорах, почему сейчас трусливо прячется за спины!» Я в тот момент действительно прятался, действительно боялся. Клин вышибают клином, страх оказаться трусом уничтожил страх перед трибуной.

Кажется, я молол какую-то чушь о дерзновении в науке, вспоминал «нетленный костер Джордано Бруно»... Спускаясь вниз, я уже знал, что сам запалил под собой костер.

Сразу же кое-кто из моих старых друзей стал меня обходить стороной. А Инга... С Ингой сошлись тесней.

— На дешевого червяка клюнул. Винеру помог? Как же! Помог тем, кто его топчет. Твое выступление для них крепкий костыль: вот, мол, наглядное доказательство — идеалист Винер развратил студентов. Кому плечо подставил?

Выпуклый лоб, взгляд в душу, строгий, успокаивающий — прохладный компресс. Нет, не признание у окна сблизило нас, а те дни, когда я висел на волоске в институте.

И позднее, в самые сумасшедшие моменты нашей семейной жизни — нет денег, покладистые хозяева грозят нас выселить, болеет дочь, — пасовал чаще я, Инга выстаивала. Один из моих приятелей как-то сказал: «В твоём доме не ты штаны носишь». Он прав — у Инги более мужской характер.

Меня не успели выкинуть из института — страна похоронила Сталина, газеты напечатали сообщение о реабилитации врачей-убийц...

Было смешно читать вышедший из печати «Краткий философский словарь», где против слова «кибернетика» стояло: «Реакционная лженаука... ярко выражает одну из основных черт буржуазного мировоззрения — его бесчеловечность, стремление превратить трудящихся в придаток машины...»

Словарь-то опоздал с выходом — кибернетика признана, Винер уже не махровый идеалист.

От отца, провинциального учителя физики, вошла в мою кровь восторженная влюбленность в науку. Ну, а моя мать еще более восторженно любила стихи, не могла без слез читать:

Изба — старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины...

Как-то само собой получилось, что я стал не углублять науку, а славить ее. Первая же

статья об обучающихся машинах привела меня на порог журнала, в котором я и работал до вчерашнего дня.

В чистую науку ушла Инга...

Ушла?.. Да нет! Она всего-навсего младший научный сотрудник. Многие с нашего курса — даже не особо даровитые, не чета Инге — стали кандидатами наук. Инга же никак не соберется сдать аспирантский экзамен.

Мешала наша неустроенность, мешала дочь. Выходит, я не тот человек, на кого можно опереться, не камень. Инга для меня самого была постоянной опорой.

Ин-га! Тебя тоже сейчас заедают мелочные «надо»...

Ин-га! Я же знаю, что ты мечтаешь об аспирантском, о кандидатской, быть может, о подвигах Марии Кюри. Знаю, что ждешь, терпеливо, упрямо ждешь своего часа! А придет ли он?

Ин-га! Я снова спутал тебе все, я предал тебя... Я сбежал.

И я по-прежнему тебя люблю — недоуменные брови на матовом лбу, лоб Софьи Ковалевской...

Зачем только я признался тебе тогда у окна! Почему я должен приносить тебе только несчастья?!

Тогда у окна ты еще плакала о другом... Тогда у окна нам было, наверное, столько же лет, сколько сейчас тому бородатому пареньку, что прогремел по привокзальной мостовой привязанной к ноге консервной банкой...

Он мой родственник. Глядя на него, я не выбросил билет. Билет до Новоназываевки...

Инга осталась дома...

* * *

А поезд шел, поезд вгрызался в ночь.

Для всех он идет и по расписанию, и по маршруту. Для всех, но не для меня. Поезд через ночь несет меня в неизвестность.

Вагон скудно освещен, сейчас в нем живут тени, качаются и вздрагивают — беспокойная немотная жизнь. Живет и сам вагон, стучит колесами, сотрясается, раскачивается, со стоном поскрипывает — прислонись лбом к стенке, и почувствуешь, как весь он до предела напряжен, как ему трудно.

Спят люди.

Уснула даже подгулявшая компания на другом конце вагона, оставив нерешенными животрепещущие проблемы футбола.

Спит громогласно пассажир подо мной, стелет по проходу бархатным храпом. Его мне не видно, но представляю, как он раскинулся на спине, прочно занял откупленное им место, спит потным, обморочным сном, набирается буйной жизнедеятельности. Спит пророк сам себе, все знающий наперед, неспособный ошибаться: «У меня глаз что ватерпас, осечки не дает».

Спит женщина — приткнулась на краешке скамьи, замерла, спряталась на короткие часы от иссушающей беды. Спит, а может, и нет, притворяется.

Люди, попрятавшись от суматошной жизни, жить предоставили теням, и они выплясывают над спящими в бесшабашной толчее. Но суматошная жизнь нет-нет да прорывается — то слышится озабоченное бормотание, то вдруг сполошный выкрик:

— Пашка, не смей!

И в ответ на секунду очнулся от забытья покорным вздохом:

— О господи...

Поезд трудолюбиво вертит колесами, убегает в ночь, спешит увезти людей, но за каждым тянутся путаные нити из нынешнего мира, за каждым — свои.

За мной тоже тянутся — не оборву. Несет меня поезд. Куда?.. Зажмурив глаза, я выбросился и падаю... в Новоназываевку.

Я падаю, а все?..

Падает каждый. Рождается и начинает свое падение. Падает и заранее знает, чем кончится это. У всех одним и тем же, разница только в продолжительности падения, парящих на свете не бывает.

Считают важным продлить падение. Зачем? Мечтать о падении — значит бояться удара, значит падать и обмирать от страха, значит отравлять себе и без того-то короткое время, которое скупо отведено тебе природой. Не лучше ли — пусть чуть короче, но без отравы, раскуйся, испытай радость свободного полета, победи смерть. Падай!

Многие пытаются сделать падение приятным — жирным куском, теплым благополучием. А с жирным, теплым, удобным расстаться трудней, страх перед концом возрастает, падение еще сильнее отравлено, смерть не побеждена.

Я, кажется, нашел, как ее победить. С трудом, страдая и изнемогая, до сих пор душа в лохмотьях...

Поезд идет через ночь, тени в вагоне живут в бесплотной трясучке. Спят люди, знающие, куда они едут, зачем едут. Знают?.. Ой, нет! Обманывают себя, на самом деле просто падают. Я тоже падаю, как и все, как и у всех, у меня даже есть видимость траектории — билет до Новоназываевки! Но я вовсе не собираюсь попасть именно в эту точку на карте, мое падение свободное, раскованное. Я должен бы быть самым счастливым человеком на свете, если б... Если б не нити из дому. Связан с Ингой, с дочерью — тяжкий груз, мешающий свободно падать.

Современем истлеют и оборвутся эти нити. Но пока тяжело, пока не вмоготу. Идет поезд, все спят, никто не мешает мне допрашивать самого себя: а так ли, а оправданно ли? Я уже столько раз допрашивал себя с пристрастием, с пытками, что теперь ответ заранее известен.

* * *

В тот памятный вечер, когда я в ужасе осмелился задать себе простейший из простейших, первобытнейший из первобытных вопросов — для чего живу? — можно считать первым приступом тяжелой и благородной болезни, которая выгнала меня из дому, заставила бросить семью.

Утром же все прошло.

Утро было серенькое, дымчатое. Небо за окном низкое, ровно облачное, вид городских зданий напротив успокаивающе знакомый. Меня окружал будничный, маленький, компактный, обжитой и уютный мир. Чудовищная Вселенная с ее галактиками и с ее бездонной ленивой пустотой отступила, я был надежно отгорожен от нее непробиваемо сереньким небом и отвечать на вопрос — для чего живу? — не испытывал никакой необходимости. Живу — и все тут, живу, вижу небо, знакомую улицу, чувствую аппетит, а это ли не явные доказательства моего бытия.

Следует задать себе куда более важный вопрос: когда же все-таки я засяду за книгу? Хорошо бы заключить с издательством договор, тогда считай себя запряженным, хочешь не хочешь — вези воз.

Где-то около двенадцати я оделся и отправился на работу.

Спускаясь по лестнице, я увидел впереди себя легкую, ладную девичью фигурку, обтянутую плащом болонья, — каждая складочка играет вместе с телом, ноги с крепкими икрами задают тон суетливому приплясу, озвученному веселым шуршанием плаща и сухим прищелкиванием каблуков-шпилек. Риточка, та самая...

Та самая — знаменитость двора, едва ли не меньшая, чем жилец из соседнего подъезда, выступающий по телевизору со спортивными обозрениями. Дом недавно заселен, а Риточка уже в нем успела сменить трех мужей, и каждый, уходя, заявлял об этом шумными скандалами.

Шуршит, стучит, играет спиной, бедрами, икрами и не очень-то продвигается вперед, я

ее невольно нагоняю.

— Ох! — И как раз в дверях. Взглянула на меня просяще, жалобно, с такой беспомощностью, что нельзя не откликнуться.

— Что случилось?

— Нога... Кажется, растянула сухожилие... Юрий Андреевич, можно вас на пару слов...

Мы до сих пор едва здоровались кивком головы, ни разу не заговаривали, а нате вам — оказывается, знает меня по имени-отчеству.

— Юрий Андреевич! Можно мне с вами быть откровенной, как перед братом?..

«Хорошенькая»... Возможно. У нее молочный цвет лица, подбритые брови, мелкие черты, крашенные до истекающего сального блеска губы, глаза под вызывающе подведенными ресницами зеленые, прилипчивые, подозрительно чистые. Тяжко красные губы и неверные глаза на молочном в голубизну...

— У вас, Юрий Андреевич, такое лицо... Оно издалека греет...

И губы масляно улыбаются, открывая мелкие острые зубы, и в зелени глаз неверно мерцающая искорка, и нога подвернулась в нужном месте, и умильные слова, и как она заигрывала со мной спиной и бедрами — все фальшиво, как наклеенные ресницы, как волосы, доведенные до неестественной блондинистости.

— Только вас и могу попросить, Юрий Андреевич. Помогите! Я такая несчастная...

Крашенные губы по-детски припухли — вот-вот сорвется невинный всхлип, — и зеленые, заглядывающие в душу глаза заблестели слезой.

— Меня обливают грязью, Юрий Андреевич! Мне не дают проходу. Кругом только злоба сплошная, не к кому обратиться... Только к вам... Помогите!

— Чем?

— Вы журналист! Вы печатаете статьи! С вами не могут не посчитаться.

— Кто посчитаться?

— Из домкома. Какое они имеют право влезать в личную жизнь. Я и так несчастна!.. Неужели это не видно!

Риточка отвернулась, стала судорожно рыться в сумочке. Она несчастна? Да, пожалуй. Но как ни несчастна, а не позволяет себе даже поплакать — потечет краска с ресниц.

Риточка промокнула глаза, страдальчески высморкалась в платочек, тихо сказала:

— Меня собираются судить товарищеским судом...

— И что бы вы хотели от меня?

— Пенсионеры, старички, масляные глазки... Им делать нечего, им, что мед лизать, выспрашивать да выпытывать, как, да что, да с кем и каким образом... Кто выдержит! Не имеют права! Не смейте ковыряться! Мне и без того тяжело... Скажите им, чтоб не смели. Прошу вас. Больше мне некого просить...

— Но я же не могу запретить товарищеский суд. Кто меня послушает?

Она вдруг разогнулась, поглядела долгим взглядом мне в лицо — в глазах ужас, громкий шепот:

— Должны же быть на свете люди с сердцем. Неужели их нет?

Я даже поморщился — распахнутые в ужасе глаза, театральный шепот. Невольно перестаешь верить во все, даже в то, что она несчастна. Несчастлива, а о ресницах-то помнит. И просит не столь уж малое: чтоб вышел против всех, кому она надоела скандалами, против тех, кто себя считает защитником порядка и нравственности, наделен правом вмешиваться и судить, Выступи, поставь себя рядом. Нет уж.

Я сухо ответил:

— Извините, но... бессилён.

— Почему сильны только недобрые? Да есть ли добрые-то? — И вдруг, выгнувшись, она закричала: — Не могу-у! Не могу-у больше! Хватит!

Все лицо — сплошные красные губы, лицо вызверившееся, безобразное и звонкий, привлекающий внимание крик. Крик человека, кому уже нечего стыдиться и нечего терять.

Крик — жалкая месть, что не хочу расхлебывать ею заваренную кашу.

— Простите, — я решительно потеснил ее и вышел.

Прежде чем завернуть за угол, я кинул взгляд — Риточка шла в другую сторону, и ее ладная фигурка играла складочками плаща, играли бедра, вытанцовывали ноги, звонко прищелкивали каблук по асфальту.

Ну вот — не могу, а уже вошла в норму, долго ли...

Я даже не успел почувствовать к ней жалости.

И вечером рассказывал Инге чуть ли не с негодованием: почему-то меня особенно возмущало, что Риточка постоянно помнила о ресницах.

— А все-таки жестоко, — заметила Инга.

— Что?

— Да за свою же беду попасть на суд.

— Может, мне проявить рыцарство, разогнать суд?!

— Ну нет, рыцарской защитой тут не поможешь... Не головой живет, самочьим инстинктом. Животный инстинкт — маловато для счастья, если находишься среди людей. Как тут помочь...

Высоколобая Инга с более мужским, прямолинейным, чем у меня, характером, конечно же, презирает Риточку, но...

— Все-таки судить несчастного безнравственно.

— Какой же выход?

— Если б я знала, то, наверное бы, помогла Риточке. Не знаю.

В нашей комнате было полно света, за стеклом книжного шкафа — пестрые корешки книг, на стене — большая репродукция Ван-Гога «Подсолнухи», уютно. Инга за моим столом стучит пальцем на моей машинке, перепечатывает песню только что объявившейся молодой поэтессы. К новым песням у нее не просто любительский подход, а серьезный, с теоретической подкладкой — жестокий романс возродился в преображенном виде, уже не жесток, а лиричен, мещанская узорность уступила место романтической широте.

Тьмою здесь все занавешено,
И тишина, как на дне...
Ваше величество, женщина,
Да неужели — ко мне?

Булат Окуджава — кумир Инги.

На следующий день в нашем подъезде было вывешено объявление: «В Красном уголке при домоуправлении состоится товарищеский суд...»

Бесконечно велик мир, ничтожно мал «Я», затерявшийся в пространстве вместе с Землей. «Я» мал, но кто дал этому необъятному пространству физиономию — шесть миллиардов световых лет? «Я», привыкший считать годы и километры на своей планете. «Я» во всем отправная точка. Не будь меня с моим разумом, нельзя сказать, что мир существует. Нужен «Я», чтобы само понятие существования проявилось.

Любая вспышка разума — это вспышка всего мироздания. Убить человеческую жизнь — убить целый мир, не имеющий границ.

Как просто было бы спасти Риточку.

Олег Зобов, физик, кандидат наук, — спортивная выправочка, мятая клетчатая рубашка под Ландау, пренебрежение к галстукам, пристрастие к парадоксам и всегда наготове куча любопытных сведений от привычек Пифагора до последних событий в литературной среде. Олег Зобов, наш автор, клад для журнала, способнейший молодой ученый, из тех, кто считает себя солью земли, постоянно афишировал теорию:

— Все ждут, что наука осчастливит страждущее человечество. Ерунда! Заставит

быстрей развиться — да. Но можно ли развитие от ребенка в зрелого, от зрелого в старика считать вожделенным счастьем? Сомнительно.

Я много раз слышал это от него, соглашался, не соглашался, но никак и не возмущался — можно и так. Но теперь на меня от Олега повеяло крещенским холодом: уж если ты занимаешься делом, то рассчитывай, чтоб оно как-то согрело людей, иначе брось, а Олег готовил докторскую диссертацию, писал статьи, прославляющие свою негреющую науку.

Почти все, кто меня окружал, с любопытством читали статьи: в Китае всеобщее озверение, школьники-хунвэйбины хватают своих учителей, пытаются, заставляют собственной кровью писать лозунги на стенах, потом убивают...

— Совсем с ума сошли... Эй! Кто стянул со стола мою шариковую ручку?..

Кровавые лозунги, предсмертные судороги, озверение детей, а «осетринка-то была с душком...».

Почему кровь, пролитая за тысячу километров от тебя, должна обжигать меньше, чем кровь, пролитая рядом с тобой?

Как просто было бы спасти Риточку!..

* * *

А поезд шел, и ночь бесконечна.

И тревожно спящие люди, как судьбе, слепо доверившиеся поезду, — довезет, куда нужно, не обманет.

И размышления, упирающиеся в один очень простой, очень важный вывод: старайся постоянно спасти другого, это самая надежная гарантия твоей безопасности. Просто, очевидно. Но люди подозрительны и очевидному не доверяют.

Я незаметно для себя забылся...

Проснулся я, когда весь вагон по-базарному шумел голосами, в проходе выстроилась очередь с полотенцами — умываться.

Поезд весело шел, бежали мимо окна согретые солнцем сосенки на косогорах.

Мой сосед по нижней полке уже приступил к своему — поучал, как нужно жить. Его сытый, вязкий голос заполнял отведенную нам часть вагона до потолка. Все молчали, никто не возражал.

— На детей нынче часто жалуются. А кто?.. От худого семени не жди доброго племени. Сами штанцы-обдергайчики натянут, юбки выше колен, морды крашены, поведение легкое, а ждут, чтоб дети росли серьезные и послушные. Не пеняй на зеркало, коли рожа крива...

Все молчали.

Человек сидит в темнице из своего «Я», до него ничего не сможет пробиться извне. Доказывать ему — все равно что внушать сострадание к запертой на амбарный замок двери. Глупость глуха, а значит, неуязвима, потому-то в век космических ракет на каждом шагу встречается дикое варварство. Забронированный глупостью человек внушает, его слушают, молчат, сознавая свое бессилие. Бессильно молчу и я.

Поезд снизил скорость — очередная станция. Навстречу, утонув по белые плечи в яркой весенней зелени, поплыла церковь с гордо вскинутым темным куполом. Наверное, Россия выглядела бы иной, если б ее леса и равнины время от времени не украшали белые церкви. Поезд шел, а церковь не исчезала, только неторопливо поворачивалась. Зелень, окружавшая ее, разорвалась, и церковь стала видна вся, от шпиля на куполе до фундамента — чистая, легкая, надменная, властно зовущая к себе: посмотри кругом на придавленные тесовые крыши, на грязные дороги, на штабеля старых, полусгнивших шпал, на все суетное, примелькавшееся, прискучившее — я не похожа, я не от мира сего.

А внизу растекался густой голос:

— Манерку взяли учить: одних музыка — трям-лям на пианинке, других иностранным язычкам — «мерси, парле ву», еще на конечках кататься позатейливей. А разве в жизни-то трям-лям нужно? Ума музыка не прибавит...

Церковь из своего далека взирала на проходивший поезд, на вагоны, забитые людьми, маленькими людьми с маленькими заботами, совсем забывшими о том, что мимо окна течет яркая весенняя зелень, что за потолком висит синее небо, что стоит церковь — взгляни, ни на что не похожа!

И я вдруг понял, что не хочу дальше ехать, слушать поучения пахнущего лошадиным потом и кожей человека. Билет до Новоназываевки, но неизвестно, будет ли Новоназываевка лучше этого поселка, украшенного горделивой церковью.

Я поспешно слез, стараясь не глядеть на мясистую физиономию соседа, натянул пальто, снял с полки свой чемоданчик и не прощаясь двинулся к выходу. Я приехал.

— Куда сноровка уходит? — слышалось за моей спиной. — На трям-лям. Ты сноровку воспитывай, чтоб тебя кто по кривой по объехал. Жы-ызнъ блюди!..

Я вышел в тамбур. Поезд остановился, показались безлюдный перрон и желтое облупленное здание маленькой станции.

— Остановка две минуты, — предупредила меня проводница.

Сам начальник станции в фуражке с красным верхом принял мой чемодан в камеру хранения, выдал квитанцию.

— В командировку к нам заслали или на побывку? — поинтересовался он. — Время-то никак не побывочное.

— В командировку, — соврал я.

Мне посочувствовали.

— Оно, служба, куда не загонит.

Холм с рощей, прятавший церковь, был виден за крышами домов. Как до него добраться, спрашивать не надо, стоит только пересечь поселок.

Пересечь... Но это оказалось не так-то просто. Прогретые солнцем бревенчатые домишки выстроились по обе стороны вспученной от грязи дороги. Пожалуй, такой буйной грязи я еще в жизни не видел. Земля утратила незыблемость — не твердь, а жижа. Кофейные лужи разливались от края до края, от одного дома до другого, в них рваными рифами торчат густые глинистые замесы. Посреди одного такого кофейного озерца покоился грузовичок — засосан по самое брюхо, колес почти не видно, брошен на произвол судьбы, отдан в жертву стихии.

Хорошо, что я догадался отдать чемодан, — с ним я не преодолел бы и десятка шагов. Тесно прижимаясь всем телом к заборчикам, хватаясь обеими руками за штакетник, балансируя, я медленно продвигался в глубь поселка, мимо низеньких окон с белыми занавесочками, с глазками красных гераней.

Иногда из-за занавесок выглядывало недоуменное лицо, провожало немым вопросом: кто ты, новичок в городском пальто, в щеголеватых туфлях, осмелившийся залезть в нашу грязь?

В центре поселка раскинулся пустырь с торчащими пнями. Его окружали казенной постройки здания: «Почта-телеграф», «Продовольственный магазин», «Промтоварный магазин», «Чайная»... Невыкорчеванные пни, грязь, редкие прохожие, жмущиеся к стенам и заборам, словно прячущиеся друг от друга, — тоскливое ощущение временности. Трудно представить, что здесь люди рождаются, женятся, обзаводятся детьми, умирают, нет, съехались, устроились на скорую руку, тяп-ляп, чтобы снова уехать. Каким прекрасным выглядел этот мир из окна — олицетворение покоя, и каким неказистым он оказался. В нем я должен жить, рассчитываю найти душевное равновесие — моя нирвана.

Наконец-то грязный поселок окончился, я выбрался на мокрое поле, облегченно вздохнул. До рощицы на холме рукой подать... Раскисшая земля чавкала под моими туфлями.

Завалившаяся в умытую зелень кустов заржавленная ограда. Я прошел мимо нее и споткнулся — каменная, вросшая в землю могильная плита.

Тишина давным-давно заброшенного кладбища, одичание и стена церкви,

оскалившаяся на меня сквозь прорехи облупившийся штукатурки рыжими кирпичами. Приземистые, тяжелые, обшитые железом арочные ворота заперты на замок, ржавый и увесистый, словно гиря. Нужды в замке нет, внутрь запертой церкви может проникнуть любой через зияющее сырым погребным мраком окно. Колокольная в небе просвечивает чердачной пустотой, колоколов нет. Воздух неподвижен, празднична юная зелень, где-то в ветвях вековых берез беспокойно шевелятся птицы.

Едва ступив в поселок, я уже понял, что обманут, что церкви нет. Я шел сюда, чтоб убедиться в этом, и куда мне было еще идти, раз уж я слез с поезда.

Церкви нет, есть ее труп, но даже он красив и величав. Изъеденные временем стены уходят в синеву...

Скорей всего эта церковь построена до того, как проложена железная дорога. Еще не было станции, там, внизу, наверное, стояла обычная полунищая деревенька. Безграмотные мужики из этой деревни без машин, заступом, обушком воздвигали храм. И пусть потом в этом храме угнездился какой-нибудь попик, возможно, страдавший запоями, возможно, мелкий, корыстный, злобный человек, не способный ничему хорошему научить мужиков. Но сами-то мужики, воздвигая храм, надеялись стать чище, честней, добрей, внутренне красивей, надеялись воспитать себя, иначе зачем же сооружать им столь дорогостоящую и трудоемкую хоромину, которая не накормит, не согреет, не приютит, — практически бесполезна. Не в попике дело, в человеческом стремлении стать лучше. Люди стремились и пусть не всегда достигали, но совсем плохо, если это стремление вовсе отсутствует.

Внизу теснятся крыши станционного поселка, бывшей деревни, воздвигшей церковь. Есть ли сейчас там клуб?.. Я прошел через весь грязный поселок и не заметил клуба. Скорей всего он все-таки есть. Я немало повидал таких периферийных духовных центров — затоптанный и заплеванный пол, скрипучие скамьи в нетопленном зале, плакаты о надое молоку, танцы под аккордеон, хорошо, если кино каждый день, часто пьяные драки.

Я вырос в неверующей семье. Мои родители свято чтит одну лишь заповедь: «Учение — свет, неучение — тьма». Они считали доказанным, что бога нет. Библия — сказки, религия — опиум для народа, только невежественный человек может верить поповским небылицам. Отец был воспитан на законах Ньютона, и хотя не очень-то разбирался в теории относительности, но ее автора Альберта Эйнштейна уважал. Отец не дожил до тех лет, когда про учение Эйнштейна стали говорить: «Проникнуто духом идеализма». Но и при жизни отца уже поговаривали: «Эйнштейн свихнулся, в космическую религию ударился». Отец снисходительно оправдывал: «Э-э, и курица петухом ноет, и у гениев бывают заскоки». Мать же моя над этими вопросами вовсе не думала, учила детей правилам грамматики, образам «лишних людей» в произведениях русских классиков, любила стихи Сергея Есенина.

Отец погиб в войну, в сорок третьем под Харьковом. Мать до сих пор жива, нянчит детей у дочки. Что она скажет, когда узнает, что ее сын стал верующим?

«Учение — свет, неучение — тьма». Ее сын окончил московский институт, работал в известном московском журнале, популяризирующем знания по всей стране. «Учение — свет».

Да, я теперь верующий. И пришел к вере от знаний.

* * *

В научных и околонучных кругах усилился интерес к... — ни больше, ни меньше — к сотворению мира. Появилась на свет так называемая космогоническая гипотеза Зельдовича — Смородинского, которая утверждала, что наша Вселенная родилась десять — пятнадцать миллиардов лет тому назад из некоего единого куска холодной протоматерии, состоявшего из нейтрино и антинейтрино. Он взорвался, разлетелся во все стороны, образовав звездные соединения — галактики, продолжающие разлетаться до сих пор. Об этой гипотезе писали газеты, на нее откликнулись за границей, мы уже не раз освещали ее. При случае решили вспомнить снова.

Я должен был взять интервью у одного известного физика-теоретика.

В рубашке с засученными рукавами, в стоптанных домашних туфлях, энергично подвижный, с рыжеватой курчавостью над залысинами высокого лба, с веселыми морщинками от беспокойно острых глаз, он принял меня на квартире в сумрачно уютном кабинете, от пола до потолка уставленном книгами, с фотографическим портретом седовласого Альберта Эйнштейна на стене.

— У меня, увы, нет веских оснований возражать и против иных гипотез сотворения, а их гуляет сейчас по свету более десятка. Одни замешивают Вселенную на холоде, другие подают ее в горячем виде... — заявил профессор.

— Похоже, что не возражаете и в то же время не очень-то верите им, в том числе и Зельдовичу со Смородинским?

— Разумеется! — воскликнул он, бесцеремонно разглядывая меня веселыми глазами. — Не возражаю и нисколько не сомневаюсь, что на самом деле было совсем не так, а гораздо сложнее.

— А это разве не возражение?

— Нет.

— Раз вы в этом даже не сомневаетесь — значит и не соглашаетесь?

— Моему интуитивному несогласию — грош цена. Оно совершенно не аргументировано. Лучшего предложить не могу, потому принимаю, что подают.

— Выходит, от такой двусмысленности на душе покойней. С глаз долой, из сердца вон.

Он рассмеялся.

— Э-э, нет. Покой на минуту, завтра, надеюсь, откроют что-то новенькое, появятся аргументы, опровергающие или уточняющие. Моя позиция — не закисающий застойный прудик, не болото в научном форуме, а позиция боксера, готового нанести удар при первой возможности.

— И к чему же в конце концов приведет такое бойцовское положение?

— Как сами догадываетесь, к новым научным открытиям.

— Но в конце-то концов?.. Уверены ли вы, что люди когда-нибудь откроют для себя истинную картину сотворения мира?

Профессор скептически помолчал секунду-другую, ответил:

— Будем надеяться — близкую к истинному. Быть может, предельно близкую.

— Предельно близкую к началу начал, а не к какому-то этапу развития?.. Ведь этот сгусток протоматерии из чего-то прежде появился или он существовал вечно?

— В тот момент, когда это первичное тесто шевельнулось, то есть перестало быть самим собой, оно получило будущее, и прошлое, и вечность, и мгновение.

— Но из чего-то оно произошло, откуда-то взялось? Ниоткуда? Ни из чего? Так было?

Прикрываться косным безвременьем — не значит ли прятаться от вопросов?

Профессор обронил с остренькой усмешечкой:

— Аминь.

— Что?

— Говорю — аминь. Договорились до точки. Вы втянули меня в область неведомого. Все, что ни спросите, и все, что я ни отвечу, будет пустым сотрясением воздуха.

Он отмахнулся от меня, неунывающий профессор, с легким сердцем: «Аминь».

Я не спеша шел от него к метро.

На город свалилась оттепель. Над крышами висело ровное хмурое небо — безлика рогожка. Асфальт был мокр и дегтярно-черен. И деревья наги и черны. И неуютно сейчас в этом маленьком мире, отгороженном облачным небом от другого мира, еще более неуютного, о существовании которого люди имели несчастье узнать. Несчастье! Теперь я в этом не сомневаюсь. Не узнай, что тот мир существует, не было бы и загадок, от которых рождается лишь чувство бессилия, мучительное сознание собственной ничтожности. А как бы хорошо оставаться в неведении, мнить себя центром мироздания.

Профессор с улыбкой проводил меня до порога. А после нашего разговора должен бы

стонать и скрежетать зубами ученый муж. Неужели его не удручает бессмысленность того, чем он занимается?

И вот что странно, они, эти ученые, не самоуверенные бодрячки, мальчишество чуждо им, честней и трезвей других признают бессилие человеческого разума.

Я вспомнил недавно прочитанные слова одного из ученых. Он их бросил в книге походя, легко, без огорчения, без тени смущения: «Наше знание — остров в бесконечном океане неизвестного, и чем больше становится остров, тем больше протяженность его границ с неизвестным». Вдуматься — вот так признание! Больше знаешь — больше неведомого. Усилия ума плодят не столько знание, сколько незнание. Зловещий парадокс, что современный ученый не знает больше, чем невежественный средневековый схоласт. Для того, средневекового, незнания просто не существовало, он знал все! Это ли не говорит о тщете разума?..

И мой неунывающий профессор мне с улыбочкой лгал, что разум человеческий откроет «близкий к истинному» секрет начала начал мира, его сотворение. Не будет этого близкого! Сейчас подозревают, что мир возник из какого-то первичного комка, откуда и как появившегося — неизвестно. Через несколько лет или отвергнут этого комковатого праотца, или начнут подозревать его предка. Чем дальше в лес, тем больше дров, знание плодит незнание, близкого к истинному не будет, наоборот, откроются глазам недосыгаемые дали, вычерпать колодец до дна не под силу, дно все равно будет скрыто.

Тогда какие преимущества гипотезы Зельдовича — Смородинского перед другой гипотезой, где туманноликий бог из хаоса за шесть дней сотворил мир? «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». Просто и ясно, по крайней мере наглядно, без каких-то там мутных для восприятий нейтрино и антинейтрино. Как первая гипотеза, так и вторая — не истина, в конечном-то счете цена им одна. Наука, выходит, не имеет преимуществ перед наивной легендой.

Я шел не спеша по оттепельной московской улице, оглушенный собственной крамолой... На что замахиваюсь? На науку? Это еще куда ни шло. Науку попинывали до меня. Руссо звал от цивилизации к естеству. Но я — то замахиваюсь на разум! На то, что отличает человека от животного! На святыню, святее которой нет ничего! Кто осмелится отказаться от разума и впасть в безумие! Нет таких!..

Падал снег и таял на мостовой, мимо меня спешили прохожие, которым было важно решить иные вопросы — купить колбасы на ужин, попасть вовремя на работу, встретиться со знакомым. Счастливы, не задумывающиеся ни о мироздании, ни о смысле собственного существования. Колбасы на полтинник, чтоб быть сыту, — вот смысл.

Но как может быть покоен и весел мой профессор? Он-то задумывается и над мирозданием, и над смыслом бытия, задумывается наверняка больше моего — это же его профессия, за это же он получил звание доктора наук... Улыбчив, обложил все стены книгами, повесил портрет Эйнштейна: «Да здравствует разум, да скроется тьма!»

Было ли начало мира?

Будет ли его конец?

Какой смысл существования человека?

Для чего я родился?

Для чего я живу?..

Зельдович со Смородинским и Ветхий завет, нейтринная гипотеза зарождения и творящая длань всевышнего...

Знания, рождающие незнания, с трудом добытые ответы, плодящие новые мучительные вопросы.

Что есть истина?

И так ли уж она нужна?

И так ли драгоценно свойство разума?

Человек разумный существует всего какой-нибудь миллион лет. Всего один миллион!

Да и то сомнительно, был ли он в это время разумен. Разжечь костер, сделать скребок — разум ли это? Цивилизация насчитывает всего шесть тысячелетий. А если погадать, сколько человек еще проживет?..

Сейчас в хранилищах сберегается столько термоядерной взрывчатки, что на каждого приходится чуть ли не тонна или того больше в переводе на тринитротолуол. Чтобы разнести в клочки меня, хватит и ста граммов. Изошренный ум изобрел и создал эту взрывчатку для себя. Так сколько же еще проживет человек с его изошренным разумом? О долголетию мечтать трудно. Еще шесть тысяч лет? Или же еще миллион?.. Сомнительно. Нет гарантии, что в ближайшее время разум не доведет человечество до братской могилы.

А таракан существует уже триста миллионов лет!

Выгоден ли разум для существования?..

Я тихо сходил с ума от этих вопросов.

— Юра, иди ужинать! — голос Инги, зовущий к столу.

Я ужинал, ложился спать, завтракал, шел на работу, правил статьи, сидел на летучках. День за днем, неделя за неделей, и страдал оттого, что живу. «Лет до ста расти нам без старости!» Но для этого мне не обязателен разум. И без разума я мог бы плодить себе подобных. Без разума я был бы, пожалуй, куда счастливей, не подозревал бы о том, что надо мной застучит могильный заступ, жил бы, не тужил, встречал смерть в блаженном неведении.

Таракан существует уже триста миллионов лет, а стрекоза, кажется, и того больше.

Монтень писал: «Все в этом мире твердо убеждены, что наша конечная цель — удовольствие, и спор идет лишь о том, каким образом достигнуть его, противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать того, кто вздумал бы утверждать, что цель наших усилий — наши бедствия и страдания?»

Удовольствие — цель?..

Я мог бы преспокойно пользоваться тем скромным удовольствием, которого сумел добиться. А мне мало быть довольным! Даже мне, а тем, кто неизмеримо значительней меня, и подавно. Вряд ли можно сказать, что Коперник делал свое открытие ради удовольствия своего или чужого. Джордано Бруно предпочел страдание на костре ради удовольствия?

Можно возразить — мол, что считать за удовольствие? Знать истину, проникнуть в неведомое доставляет такое-де удовольствие, что живьем сгореть не жалко. Но истины бывают столь горькие, что, узнав их, отравляешься ужасом до конца дней.

Удовольствие — конечная цель?.. Философия отяжелевшего Карпа Карпыча за чашкой чая.

Так в чем же эта конечная?

Ночами, потушив лампочку у изголовья, я лежал с открытыми глазами, и надо мной нависала Вселенная — черная кошмарная пустыня с жалкими звездными островками. Моим далеким предкам было легче: они не подозревали о своем ничтожестве.

Когда-то одетый в шкуры охотник ужасался раскатам грома, сверканию молнии. Необъяснимо! Человек не может терпеть необъяснимого, нет ничего для него страшнее неведения. И первобытный охотник объяснил, как сумел, придумал высшее существо, живущее в облаках. Могущественное, грозное, жестокое, ужасное, но все-таки менее ужасное, чем невнятное.

Мы объясняем и плодим необъяснимое. Невнятное — ужасно! Но оно растет. Мир отравлен страхом.

Было ли начало мира?

Будет ли его конец?

Ответа нет.

Но если я признаю бога, что он есть, он существует, он творец мира, разумное начало, то так ли уж важно знать мне, когда мир начался, когда он кончится? Да мое ли это дело —

заниматься такими вопросами? Мне достаточно поверить — кто-то знает, кто-то непостижимо более значительный, чем я, кто-то, кому я обязан существованием. Тогда мое бессилие в этих вопросах законно — это не мои вопросы, не мне их решать.

Для чего я родился?

Какой смысл существования человека?

Для чего живу?

Об этом Он знает, мне не дано. Если поверишь в Него, то поверь и в то, что Он не допустит бессмыслицы. Я не знаю, в чем заключается Его смысл, я не самостоятелен, я просто подопечный, но мне вполне достаточно и того, что этот смысл существует, что я такой, какой есть, кому-то нужен, бесполезен. Я не бессмыслица!

Как говорили в старину, бог снизошел к моим страданиям. Он стал настойчиво стучаться в мою дверь.

* * *

Довольные не нуждаются в боге, и он проходит мимо них. Но и страдающие не все слышат его стук.

Готов преклоняться перед теми, у кого достаточно сил и мужества вынести любую боль, не прибегая ни к чьей помощи — ни к божьей, ни к человеческой. Готов радоваться вместе с теми, кому помогают добрые люди, глушат боль помощью и заботой.

А как часто добрые люди не хотят или не догадываются помочь никаким участием, никакой заботой. Справляйся сам, ищи железо в себе. Но можно ли упрекать человека, что он не железный? И надо помнить, что даже у железа есть свой предел сопротивляемости.

Разные люди и разные страдания!

Да нет. Причины страданий разные, а боль, какую они вызывают, может быть лишь больше или меньше, но одинакова для всех людей.

Та женщина в вагоне, страдающая за дочь, вряд ли поймет меня. Жена есть, дочь есть, есть здоровье и силы, и деньги водятся, с чего бы горевать... Вопросы с неба понахватали, ответить не можешь, но от этого без куска хлеба не останешься, есть из-за чего тужить. С жиру бесишься, добрый молодец!

А ведь я похож на тебя, женщина. Тебе неведома судьба твоей дочери, мне — судьба самого себя вкупе со всем родом людским. И нет ничего страшней неведомого. Неизвестности нельзя терпеть без ужаса. Пусть горькая, но известность, пусть даже вымышленная, пусть видимость ее — все легче.

Есть люди, которым все всегда ясно. Тусклые счастливы, вроде того соседа, что любит поучать, пахнет лошадиным потом и даже спит жизнеутверждающе. Бог к нему не постучал в дверь. Нужды нет.

Ко мне постучал...

К тебе, добрая женщина, тоже может стукнуть... А может, ты давно уже распахнула ему свою дверь?..

* * *

Казалось бы, радуйся — нашел возможность сбросить проклятые вопросы. Но вместо радости — паника и растерянность...

Познать бога, а бог с раннего детства мой противник.

Шести лет я с отцом и матерью приехал на лето в деревню и открыл, что у меня есть бабушка.

До сих пор слышу ее голос, глуховато-напевный, усыпляющий:

Козлятушки-ребятушки!
Отопритесь, отворитесь!

Ваша мать пришла — молока принесла;
Бежит молоко по вымечку,
Из вымечка по копытечку,
Из копытечка во сыру землю!

Как вспомню, уже теперь, взрослому, становится уютно. Каждую минуту от бабушки можно было ждать подарка. Она щиплет лучину и вдруг откладывает полено, что-то строгают, прилаживает и... «На-ко, золотко, беги на волю». В руках ветрячок, на воле под ветром он весело крутится. Она собирается на речку полоскать белье и почему-то захватывает с собой горшок, невымытый, испачканный тестом: «Идем, голубь, со мной...» Значит, что-то будет! Горшок набивается камнями, ставится на дно под воду: «Ужо, ужо, не спеши...» И я терплю, жду, пока бабушка кончит полоскать белье. Она кончает, горшок торжественно подымается, и в нем пригоршня мелкой, сверкающей, как серебряные монеты, рыбешки.

От бабушки всегда вкусно пахло парным коровьим молоком, у бабушки по лицу улыбочивые морщинки, у нее голубые, кротко слезящиеся глаза — не было на свете лучше ее человека.

И вдруг оказалось — в летней горенке, где живет бабушка, весь угол уставлен иконами, бабушка каждый вечер отбивает перед ними поклоны.

Иконы! Их все презирают, все осуждают, надо стыдиться. Мне стыдно за бабушку, мне больно. Самый хороший человек на свете, никак не ожидал от нее плохого, и я с детской категоричностью бабушкины привычки оценил как предательство.

Отец почему-то не разрешил мне трогать иконы:

— Не обижай старого человека.

Но я все-таки одну икону тронул, не выбросил — мне бы за это попало, — а перевернул вниз головой. У бабушки слезились глаза, плохо видела, продолжала кланяться богу, который неприлично стоял вверх тормашками. А я испытывал торжествующе-мстительное чувство.

Мне тогда не исполнилось и шести лет, но я уже воинственно считал бога своим противником.

Теперь мне идет тридцать третий год, и я запоздало должен признать бога.

Я предаю память своего отца, предаю мать, которая до сих пор жива. Я не могу отделаться от презрения, какое сам в течение всей жизни испытывал к верующим. Пугает, что меня станут презирать мои же товарищи, такие же безбожники, каким я был до сих пор. Пугает, что должен иначе думать, иными глазами смотреть на мир, жить иначе! Вера в бога не рождается от одних только логических умозаключений, вера — скорей привычка. Я привык отрицать бога.

Да есть ли этот бог?..

Кто докажет мне его существование?..

Могу ли я верить несуществующему?..

А кто мне докажет, что этого бога нет?

Ученые с телескопами и радиолокационными установками? Они не уловили его присутствия...

Но если бог доступен тем, кого он сотворил, то что он за бог! Творец и хозяин величайшей Вселенной не величествен. Значит, микроб на песчинке, покоящийся на дне морском, соперничает с царственным Нептуном?

Есть ли бог?..

Но есть он или нет его, одно бесспорно — этот бог мне нужен.

Я знал человека, которого с помощью гипноза излечили от заикания. Врач внушил ему, что тот обладает способностью не заикаться. До сих пор такой способности не было. Внушили — поверил — появилась! Внушенная способность стала реальностью.

Бог мне нужен! Нужно внушить себе и поверить — воображенный бог превратится в

реальность.

Если он сможет спасти меня — он есть! Докажите обратное!
Сир! Я нуждаюсь в этой гипотезе!

Меня вызвал к себе главный редактор нашего журнала. Это был полный, округло обкатанный человек с бесхарактерным лицом, к которому навечно приклеилось выражение виноватой вкрадчивости. Говорил он всегда пониженным голосом, даже если сердился. Он не был ни ученым, ни журналистом, по непонятной причине считался специалистом по распространению научных знаний, хотя лично сам их никогда не распространял, а только руководил распространением. Руководил разъездными лекторами, отделом издательства, выпускающим доступные брошюры, теперь руководил научно-популярным журналом.

— Что вы тут насочиняли? — спросил он меня.

Перед ним лежала запись моего интервью с профессором.

— К чему эти разглагольствования, что наука не дает абсолютно точных ответов? Выглядит так, что вы стараетесь доказать ущербность науки. Надо, надо переделать. От первой строчки до последней.

Я не стал оправдываться — к чему? Я лишь понял — теперь с каждым днем я буду непонятней и шефу, и товарищам по работе, по-иному гляжу, иначе думаю. А это ли не признак, что уже признаю бога, хотя все еще не чувствую себя окончательно верующим.

Вечером — Инга.

Инга с зачесанными назад густыми волосами, открывающими высокое чело, Инга с остужающим взглядом. Инга — прохладный компресс, с первых дней нашего сближения усвоившая материнскую снисходительность ко мне: мальчик может учудить всякое, не стоит уж очень серьезно принимать к сердцу его выходки. Могу ли теперь сказать ей все о себе?

— Юра, как твое интервью? Почему ты его мне не показал?

— Приказано переделать.

— Почему?

Могу ли я сказать ей!..

— Инга, тебе никогда в голову не приходил вопрос: для чего ты живешь на свете?

— Как это?..

— Да так, ответь...

— Наверное, для того, что и все.

— А все для чего?

— Меня Танька вчера спросила: почему кошки без крыльев?

— Разве так глуп мой вопрос?

— Неправомерен, — ответила, ни на минуту не поколебавшись.

— Именно?..

— Можно задаться вопросом: почему, по каким причинам крутятся планеты вокруг Солнца? Но спрашивать: для чего крутятся, с какой целью — глупо.

— У планет, может быть, они неразумны, а у человека?..

— В конце-то концов какая разница. Человек тоже природное явление, как и планеты. Двигайся, изменяйся, живи, чтобы жить.

— Живи, чтобы жить?.. Но для этого не обязательно быть человеком. Живет и муравей в своей кучке, горя не знает. Мне мало муравьиного, хочу знать — не бессмыслица ли я?

— Мне достаточно знать, что у меня есть дочь, хочу вырастить ее здоровой, умной, хочу, чтоб была счастлива, а для ее личного счастья нужно, чтоб в мире не случилось войн, чтобы люди легко справлялись с болезнями, чтоб поля рожали много хлеба... И если я хожу каждый день в свою лабораторию, помогаю выращивать кристаллы полупроводников, то надеюсь, и это пойдет на пользу моей Танюшке — появятся такие машины, которые освободят ее от неприятной работы, хоть бы от того, чем занимаюсь я, — мою, подметаю, подтираю, варю, пришиваю пуговицы своему любимому мужу, не успеваю сесть за книги, сдать аспирантский экзамен, жизни не вижу. Мне моего смысла достаточно, захлебываюсь я

в нем.

— О Танькином счастье мечтаешь? А станет ли она счастлива, даже если предположить, что войн не будет, болезней не будет, грязные чашки станет полоскать транзисторная домработница? При безбедной жизни не задумается ли наша Танюшка — куда ее безбедная течет? А ответ-то один, и вовсе не утешительный, — к сырой могиле. Безбедность и безысходность — счастье? Ой ли?

— Ох, если б только от этого у нашей дочки голова болела, ни от чего другого!

— Мне кажется, такая головная боль — самое ужасное из всех несчастий. Жить и знать, что живешь для могильных червей, бесцельно!

— Не горюй, была бы шея, а хомут найдется. Человек всегда отыщет что-то такое, что позарез нужно, самой жизни не жалко.

«Не горюй...» То есть откажись от вопроса, не думай, почий в блаженном неведении.

А я не могу!..

Мои далекие предки придумывали себе безжалостных до ужаса богов, лишь бы не остаться лицом к лицу с необъяснимым.

Я боюсь нераскрытого вопроса, и нет тут ничего постыдного. Я боюсь, как боится все человечество, я поступаю так, как поступало все человечество, — пытаюсь объяснить неприятное любой гипотезой, если даже она бездоказательна.

Но тебе, Инга, хорошо, ты не нуждаешься в гипотезах.

Живи, чтобы жить! Этому правилу подчинялись всегда ничтожнейшие из людей, а те, что шли на костры, считали — есть что-то более ценное, более значительное, чем их собственная жизнь.

Живи для других, ради общего блага отдай свою жизнь. Но я свою единственную могу отдать для других только тогда, когда меня убедят, что эти другие будут жить со смыслом, а не просто так. Жертвовать жизнью, чтоб только кто-то бесцельно и ненужно жил, — нет, не хочу, чем тот лучше меня? Тогда пусть уж я прокоротаю свое бессмысленное в свое удовольствие.

Живи, чтобы жить! Прими это я, и мне уже ничто не будет мешать подличать, убивать, грабить других, лишь бы моя жизнь мне была приятна. Живи, чтобы жить — вот моя цель, мой руководящий лозунг, моего соседа, дальнего знакомого, всех! И все вцепятся в глотку друг другу.

Два разных человека встали к барьеру — вчерашний Юрий Рыльников и сегодняшний. Двое противников поднялись на поединок во имя истины, стараясь сразить друг друга аргументами.

Вчерашний нападал:

— На пустоту опираешься, на вымышленный костыль!

Сегодняшний парировал:

— И Эйнштейн опирался лишь на допущение — скорость света конечна.

— А разве это вымысел? Разве есть доказательства обратного?

— Конечно, нет, как нет доказательств отсутствия бога, а значит, мне ничто не мешает принять такую аксиому.

— Допустим. Но что это даст, кроме самообмана?

— Реально изменит существующую жизнь.

— Как? Каким образом?

— Сейчас люди живут в несогласии — по-разному думают, по-разному поступают, — а отсюда — взаимная вражда, но если появится один бог, один смысл для всех — взаимная вражда должна уступить место взаимопониманию.

— Блажен, кто верует. Единый смысл человеческого бытия!.. Но вспомни, что сам смиренно признавал, — этот смысл непознаваем, богово, не по зубам орешек!

— Можешь ты составить какое-то представление о дереве, видя только тень его?

— Какое-то могу.

— Так и тут. Если люди живут не в согласии, тянут в разные стороны, то, значит, кто-то из них непременно идет против бога, против смысла жизни. Сам по себе смысл непознаваем, но единение людей, их сплоченность, их содружество соответствуют высшему смыслу, как тень дерева соответствует самому дереву. А самое идеальное выражение единения людей — любовь их друг к другу...

— Эге! Старая и наивная песня: бог есть любовь.

— Не так уж не правы те, кто поставил тут знак равенства. Тень-то дерева принадлежит самому дереву. Бог есть любовь — не так уж это и плохо.

— Какой прогресс: от Эйнштейна к баптизму!

— А так ли редко мы отвергаем и вновь возвращаемся к давно отвергнутому?

Вчерашний Юрий Рыльников и Юрий Рыльников сегодняшний в постоянном поединке. Я чувствовал, что верх одерживает мое новое «Я». «Тень дерева соответствует самому дереву». Божеское лицемерье прямо нельзя, а тень его уловить можно.

Через знакомого букиниста я купил себе Библию.

Я не рассчитывал найти в ней себе бога. Как-никак я кончил институт, считаю себя сравнительно образованным человеком, во мне жив дух двадцатого века, навряд ли среди древней шелухи отыщу готовое, скорей создам своего бога, более достоверного, чем библейский.

И вначале, читая Ветхий завет, я чуть ли не на каждой странице удивлялся — чему же верили, до чего общепринятый бог мелочно-мнительный, болезненно-тщеславный, беспомощно-жестокий и ничтожный.

Казалось бы, раз ты, бог, сотворил Адама и Еву по образу и подобию своему, то не возмущайся, а гордись; если твое творение приближается к себе, значит, оно совершенно. Нет, бог противится, когда Адам и Ева вкушают плоды познания добра и зла, бог не желает, чтоб у них открылись глаза, боится их похожести на себя, проклинает: «В болезни будешь рожать детей... проклята земля за теби; со скорбию будешь питаться от нее. Терние и волчцы произрастит она тебе!..»

А торговля бога с Авраамом, защищающим несправедный Содом. «И если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам ему осмеливается возразить: а если будет не пятьдесят, а сорок пять? Бог соглашается — пусть сорок пять, куда ни шло, пусть тридцать, двадцать, десять... Не бог, а Авраам великодушней, не от бога, а от Авраама исходит инициатива добра.

Верный Авраам не дает никакого повода богу не доверять ему, и все-таки бог не доверяет, в своей чудовищной подозрительности подвергает неправдоподобно жесточайшему испытанию. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь... принеси его во всесожжение на одной из гор...» Верный Авраам готов, и устами ангела бог тщеславно торжествует: «...Я знаю, что боишься ты Бога». Вот чем озабочен всесильный — боишься, а вдруг да нет.

Боги ли создают людей?.. Но в том, что люди создают богов по образу и подобию своему, сомневаться нельзя. Обычные люди — удобных богов.

Однако чем глубже я влезал в эту древнюю книгу, тем чаще я наткался на такое, которое сбивало с меня спесивое превосходство.

Екклесиаст говорил: «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни?..» А знаем ли это мы?..

Крошка сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
Что такое хорошо?
Что такое плохо?

Умудренному папаше ничего не стоит объяснить неразумному сыну: то — хорошо, а то

— плохо, нужно только прилежно выслушать и запомнить, и ждет ясная жизнь, гарантированы безошибочные поступки.

В 1933 году папы и мамы Германии проголосовали за Гитлера — роковая ошибка, покрывшая Европу трупами, в том числе миллионами трупов детей опростоволосившихся пап и мам.

Что такое хорошо?

Что такое плохо?

Энгельс сказал: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит... Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и других местах выкорчевали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их вместе с лесами центров собирания и хранения влаги». «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни?..» — вопрошал Екклезиаст.

Христос учил в Нагорной проповеди:

«Вы слышали, что сказано: „Люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего“. А Я говорю вам: любите врагов ваших... Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?»

Мы с пренебрежением относимся к христовскому непротивлению — древность, архаика! — а сами вернулись к еще более архаичному утверждению, к тому, от чего Христос ушел: люби похожего на тебя по взглядам, по образу жизни, по мышлению, «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А кто друг, кто враг? Как часто сам себе становишься невольным смертельным врагом.

Христос предупреждал:

«Берегись лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?»

Не в овечьей ли одежде предстал пророк Гитлер, суливший немцам царствие небесное на земле? И не обещает ли Китаю с терновника виноград пророк из пророков «самое, самое красное солнце» председатель Мао? «По плодам их узнаете их...» Берегитесь лжепророков, особенно тех, кто обещает вам с колючего терновника сладкий виноград!

Библия на моем столе, книга книг, в ней и уость, в ней и скудость наших предков, взывавших к мелкому, злобному, мстительному богу — преклонись и покорись перед ничтожеством! Но в ней и нетленная их мудрость. Люди остаются людьми: то, чем болел темный скотовод Палестины, болит и во мне, что возмущало его, продолжает возмущать и меня. В мире есть вещи непреходящие!

Никчемн ветхозаветный бог! Принять его целиком не могу, не хочу, готов отвернуться.

Но мне нужен бог! Нужен! Без него нет жизни!

Сочини себе своего бога тайком, в одиночку верь в него.

Тайком, в одиночку, воровски, стыдясь того, кому поклоняешься? Твой идеал постыден, твое поведение зазорно! Ну и ну!

Не может быть бога для себя. Вера в бога была и будет руководством, как жить. Нельзя жить в одиночку. Нельзя иметь единоличного бога! Хочешь или нет, а придется искать тех, кто разделяет твои взгляды, твои принципы, твои идеалы. Твой бог — общий бог, не пытайся выдумать какую-то новую карманную религию для индивидуального пользования, принимай ту, какая есть.

Она чем-то тебя не удовлетворяет? Что ж, как и многое, с чем ты миришься. Мирись и в этом. Мирись и помни, что и до тебя люди искали смысл бытия, искали и многое нашли, не изобретай заново деревянного велосипеда!

От Библии я метнулся к работам Эйнштейна. Может, он уже нашел для меня бога? Мудрец двадцатого века, во всей истории таких по пальцам перечесть, и он, говорят, от атеизма повернул к религии! Он ли не авторитет для меня! Заранее готов почтительно следовать.

«Основой всей научной работы служит убеждение, что мир представляет собой упорядоченную и познаваемую сущность. Это убеждение зиждется на религиозном чувстве».

И только-то?..

Религиозность, родившаяся от бессилия доказать истоки упорядоченности! Природа велика — дух захватывает, чувство бессилия тут неудивительно. И это называть религиозностью! Религиозность, не признающая верховного смысла, конечной наивысшей цели!.. «Космическое религиозное чувство», да это же просто-напросто восторг естествоиспытателя, пусть тревожный, пусть дух захватывающий. Дух захватывать может и головокружительная высота на краю пропасти, но никому и в голову не придет обожествлять пропасть.

Эйнштейн ничего не обожествляет, свое головокружение называет религией, «не ведающей ни догм, ни бога».

Мой отец, убежденный безбожник, был бы в восторге от такой религии. Уж он-то постоянно находился в дух захватывающем восторге перед величием природы.

А мне-то нужен бог!

Великий мудрец, мне с тобой не по пути: все-таки какой-никакой бог лучше, чем ничего.

— Что ты читаешь?

Танюшка садится на корточки перед диваном, на котором я валяюсь с Библией, острые исцарапанные коленки подняты до ушей, ясные глазенки снизу вверх в сиянии, вкрадчиво нежный колорит белобрых локонов и розовой кожи, тугие щеки раздвинуты в улыбке. Сама улыбка трогательно беззуба — мы как раз расстаемся с молочными зубами.

— Ты что читаешь?

— Старые сказки, Танюшенька.

— Про Бабу-Ягу Костяную Ногу?

— Нет, не про Бабу.

— Почитай мне... Или расскажи.

Я мог бы ей рассказать сказку о том, как в семье плотника родился сын, как к его матери пришли седые волшебники и сообщили, что видели звезду, по которой узнали — родился новый царь. Во всех других сказках волшебники не ошибаются, а тут ошиблись — мальчик вырос и стал не царем, а нищим, ходил из одного города в другой, учил людей, как быть добрым. За это нищего схватили и повесили на кресте.

Я бы мог ей рассказать, но боюсь. Сказка о добром нищем не раз творила в истории зло. Боюсь, что и моей дочери она принесет беду. Пусть пока не знает эту сказку, вырастет, может, тогда расскажу, может, сама не пройдет мимо нее.

И я рассказываю обычную сказку о Бабе-Яге, живущей в избушке на курьих ножках: «Избушка, избушка, встань ко мне передом, к лесу задом!» Безобидная сказка...

Дочь я оберегал от сказок, а себя тешил... Да, чаще всего сказкой об Иисусе Христе.

На протяжении всей жизни внушали мне, что такого не существовало, он — личность невзаправдашняя, досужая выдумка.

Вполне возможно. Хотя Корнелий Тацит в своих знаменитых «Анналах» упоминает о нем: «И вот Нерон... предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат...» Корнелия

Тацита отделяло от Христа не больше времени, чем меня, скажем, от Достоевского. Но возможно, эти слова — позднейшая приписка монахов-переписчиков...

Ну, а если он и был, то наверняка несколько не походил на того Христа, которому вот уже около двух тысяч лет поклоняются люди. Наверняка настоящий Христос не совершал тех чудес, которые ему приписывают, скорей всего не произносил и тех возвышенных речей, какие украшают Евангелие. Того Христа, которому дивились и молились поколения, создала не мать-природа, а время и люди, вкладывавшие в один образ, в одну личность то, чего искали в себе и в других.

Был ли настоящий Христос?.. Да мне наплевать на это. Я люблю выдуманного, выстраданного, люблю его, как неистовую человеческую мечту. Люблю великую, охватившую века и народы сказку о добре.

Все прежние сказки славил Силу, откровенную, грубую, которой больше свойственно разрушать, а не строить, убивать, а не защищать, карать, а не спасать. Юпитер, Марс, Аполлон, Венера — разные варианты царственной Силы, совершенные сочленения мощных мускулов, великаны телом и... пигмеи духом. Им чуждо сострадание, они целиком подвластны чувству мстительности, до крайности себялюбивы, до тупости равнодушны и не любопытны. Их было много, этих богов, нависавших над мающимся человечеством. Они величаво взирали с высоты на то, как внизу сильный душил слабого, нищий кормит богатого, превозносятся убийцы, презирается скромность. Всесильные боги были довольны стонущим от неурядиц миром.

И вот против этих богов, грозных и жестоких, выступает Он. Нет, Он не могуч и не грозен. У Него немощное тело, слабые руки, несколько не похож ни на бога, ни на царя, ни на героя. Он родился в хлеву, вырос в семье бедного плотника, знает с детства, что такое голод и жажда. Беззащитный, как большинство людей, сильнее других страдающий от жестокости своего времени.

Его слушаться, а не богов!.. Боги могут покарать, а Он...

Над Ним смеются, Его презирают, как любого слабого.

Но есть такие, которые не могут смеяться над Ним, так как сами смешны, не могут презирать, так как сами презренны. Он им нравится как собрат по несчастью, они Его слушают. А он проповедует странную вещь — любовь. То, что не кормит и не защищает. Он убеждает обиженных, что это их единственное оружие. Ежели ты полюбишь не только того, кто к тебе добр, но и врага своего, то какая нужда ему враждовать с тобой? Любовь побеждает силу.

Старые боги жили силой. Испокон веков считалось, что в палке больше правды, чем в ладони, защищающей голову. Меч праведней палки. Бога не достанешь мечом, от бога не защитишься, но можно умиловить его, подкупить. Между человеком и языческими богами существовали многочисленные сделки и не было любви.

Тому, кто готов укрыть любовью, как плащом, даже своего врага, старые боги не подходили.

Нищий и беззащитный, Он бродит по свету. Слабые идут к Нему. В залитом кровью мире слабых больше, чем сильных. Слабые могут стать силой!

И старые боги содрогнулись от страха. Еще велика их власть над людьми, велик страх перед ними, велико желание умиловить их.

Бос и наг, Он ходит по свету, проповедует любовь, а вокруг накаляется ненависть. Он против богов, таких привычных, таких грозных! Он, кто родился в хлеву, не силен и не грозен...

И сильные, и слабые, и злые по природе, и добрые одинаково продолжают верить в могущество насилия, в бесполезность любви. Сильные, слабые, злые, добрые, обидчики и обиженные — все ополчились против Него.

А Он не прячется и не раздает оружие своим ученикам. Он не собирается защищаться. Он знает, что обречен.

Мятежник против богов! Ха-ха! Как легко с ним справиться!..

Владыка мира Рим любил порядок, строго следил: каждому — свое. Даже смерть раздавалась строго по рангу. От цезаря до плебея каждый может быть умерщвлен, но не так, как раб. Раба казнят по-рабски — распинают на кресте. Нет более унижительной смерти.

Он родился в хлеву, а умер, как раб. Он возродился богом, смертью смерть поправ!

Старые грозные боги погибли по-божески — просто тихо исчезли из людской памяти. Он, слабый, оказался победителем, «смертию смерть поправ».

Сказка, живущая две тысячи лет! Я тепшил себя ею. Я никому ее не рассказывал. Ни дочери, ни жене...

Я боюсь, это становится моим обычным состоянием.

Я открыл себе бога, чтоб мог спокойно и дерзко глядеть на жизнь, чтоб хранить твердость духа при мысли о неминуемом конце, — служу высшей цели, подчиняюсь высшим законам.

И для меня, сына неверующих родителей, для меня, с младенчества до зрелых лет слышавшего лишь одно — бога нет, религия — духовная сивуха, поклонявшегося всесильной науке, вдруг «сжечь то, чему поклонялся, поклоняться тому, что сжигал», — право же, не просто решительность, нет, акт мужества.

А где оно, мое мужество?

Я невольно вздрагиваю, когда слышу: «Рыльников! Тебя главный зовет!» Боюсь обмолвиться лишним словом с товарищами, боюсь всего.

Отвернутся как от помешанного — это страшит!

Хотелось бы гордо сказать: нет, презираю, все нипочем.

Хотелось бы, да не могу.

Сам я готов бросить работу, и сделал бы это с наслаждением и немедленно. Готов снести смех, издевки, общее порицание, общее презрение, готов во всем собой жертвовать... Но жертвовать-то придется не собой.

Уйти гордо с работы и с этой спесивой гордостью сесть на шею Инге, на ее не очень-то щедрую зарплату младшего научного сотрудника?..

Но это еще не страшно. Страшней, когда слава обо мне пойдет гулять среди наших знакомых. При встрече с Ингой каждое «здравствуйте» будет произноситься с особым смыслом. И ощупывающие взгляды, и уже на простенький вопрос: «Как поживаете?» — нельзя ответить с будничным безразличием: «Спасибо. Помаленьку». Какое там помаленьку, жить-то тебе, уважаемая, приходится с человеком не совсем нормальным, того... спятившим. И, возможно, эта слава докатится до жильцов дома, в спину Инге станут указывать пальцем: «Та самая, муж у которой...» Окажешься на положении Риточки из девяносто шестой квартиры — терпи, Инга.

Я верю — Инга все вытерпела бы, если б разделяла мои взгляды. Но не разделяет, и нет надежды, что когда-либо разделит. Ей терпеть? Ради чего?..

Но самое-то страшное не Инга — Танюшка. Ей уже пошел шестой год, скоро в школу. Ее там начнут учить тому, чему учили и меня: бога нет, религия — дурман. А папа-то живет в дурмане. Презирай, Таня, отца, он у тебя не такой, как у всех, с изьянцем. Но от отца-то отказаться непросто, не любить его трудно. Отец или школа? Отец или все люди кругом? На чью сторону стать? Непосильное для детских плеч, недолго и сломаться. Хочу ли этого? Нет!

Скажу больше: счастье дочери мне дороже моих принципов. Презирайте за беспринципность!.. Нет, не смеете! Что за принципы, если они требуют человеческих жертв? Чужим не осмелюсь пожертвовать, родной дочкой и подавно. «Избушка, избушка, встань ко мне передом...»

Люблю дочь, люблю жену! Да, люблю Ингу. В эти дни я это понял с той силой, какую обычно испытывают перед утратой.

В здоровом теле — здоровый дух, гладкая кожа, влажный взгляд, плывущая походка, и жизнь свою не считает бессодержательной... Разве обязательно она должна походить на меня, так же мучиться, так же дергаться, так же исступленно искать? Что, если все люди, как

я, начнут судорожно искать бога? В судорожных метаниях человечество просто забудет о жизни. А раз я признаю, что бог заселил планету людьми, то он должен быть и заинтересован, чтоб эти люди нормально жили. Инга — нормальный человек. Ей дана жизнь, и она бесхитростно ею пользуется, не смей упрекать за это!

А как Инга хороша! На раздавшихся плечах гордо посажена крупная голова с пышными волосами, скупно отливающими старой бронзой, с мраморной глыбой лба, и глубокие серые до черноты глаза, и линии тела, презирующие застенчивость, и тугие бедра, и сильные ноги, и дремотно медлительные движения рук. В здоровом теле — здоровый дух. Создана быть матерью и любовницей, одна из продолжательниц рода человеческого, из тех, кто не даст затухнуть жизни. Творец жизни должен быть ею доволен.

Я поверил в бога, значит, признал — эта гипотеза единственно верная, значит, правда на моей стороне. Но что за правда, если она стыдливо прячется? Скрывать правду — не значит ли лгать!

Совершил мужество и стал трусливым. Нашел в себе силы быть предельно честным перед собой и начал лгать другим.

Теперь вся моя жизнь состояла из лжи.

— Рыльников! Тебя главный зовет!

До сих пор мне удавалось увиливать от рубрики «На атеистические темы».

— Юрий Андреевич, вот тут пришло читательское письмо. Пишет не кто-нибудь, а учитель, причем старый, преподававший физику. Он, видите ли, агрессивно доказывает, что наука и религия не противостоят друг другу. Примерчики исторические приводит: Кеплер хотел стать пастором, Ньютон-де писал богословские трактаты и прочее в этом духе. Надо ответить резко, но без грубостей, главное — поаргументированной. Организуйте, в ближайший номер просунем.

Старый учитель физики из провинции, по профессии, по положению, да, наверное, и по возрасту схожий с моим отцом. Как знать, не признал ли бы бога мой отец, поживи он подольше? Сын-то его, воспитанный в безбожии, признал...

На добром, бесхарактерном лице главного выжидание — говори «Есть» и удаляйся. Меня подмывает сказать: «Не буду!»

И объяснить почему. Главного редактора хватит удар, мои товарищи ахнут от удивления, ахнет Инга.

Не буду!

И аукнется на Танюшке. Как ни дороги мои принципы, но счастье дочери дороже.

Я ничего не сказал и двинулся к выходу.

— А письмо-то!.. Какой-то вы теперь рассеянный...

Я молча вернулся, забрал письмо. Главный редактор проводил меня недоуменным взглядом.

Ни я богу, ни бог мне, лучше отказаться друг от друга. Сядь и напиши ответ такой, какой требует главный, — «резко, но без грубостей, поаргументированной». Откуда я возьму аргументы?..

Ни я богу, ни бог мне... Нет, этот бог уже влез в душу, не вытравишь. Не могу без бога, но не могу и походить на библейского Авраама, который бросил на жертвенник своего сына. Бог перестанет быть для меня богом, если потребует жертву близкими. Тебе, господи, дано распоряжаться судьбой рода человеческого, давать жизнь и отнимать ее, так не перекладывай эту тяжкую обязанность на мои слабые плечи, не выдержу!

Моя собственная жизнь зашла в опасный тупик — ни назад, ни вперед, ни стоять на месте.

Я показал письмо Олегу Зобову, тому автору — физику, что доказывал — наука не осчастливит. Олег с охотой согласился:

— Стоит выпороть старика за ренегатство.

Олег сам служил негрешущей науке и уж, конечно, не постесняется отнять у другого то,

что как-то того согревает. Я нанял убийцу на собрата по духу.

Доколе?! Противен сам себе! Доколе так жить?!

Никогда не решусь предать дочь, буду предавать из часа в час, изо дня в день самого себя. И в конце концов так изолгусь, что дочери все равно придется стыдиться отца, Инге — мужа, и знакомые отвернутся в презрении.

Да нужна ли мне такая жизнь? Да нужен ли такой отец Танюшке? Не лучше ли будет отказаться от жизни?..

Отче наш, иже оси на небеси!

Да святится имя твое...

Кто подскажет мне выход!

* * *

Пустая, давно обворованная колокольня тихо и грустно плывет среди непорочно белых облаков. Мертвый памятник былой веры. Птичий хлопотливый посвист в сочной зелени. Заросшие травой и кустарником старые могилы. Настолько старые, что уже не напоминают о смерти, только о покое. Что из того, что в земле лежат кости людей, когда-то радовавшихся и страдавших, — тишина, и птичий посвист, и молодая сочная трава на удобренной земле. В таких местах невольно веришь в красоту смерти.

Но мне еще суждено жить. Это место не для меня — ошибся, надо искать другое.

Искать себя. Найду ли?

После всего, что со мной случилось, должен найти. Самое трудное позади. Перебрался, выкарабкался, не скатился в пропасть. Дорогой ценой — душа в лохмотьях.

Кто подскажет мне выход?

Отче наш, иже еси на небеси...

Бог не собирался подсказывать, бог со стороны наблюдал, как сам в себе судорожно барахтается маленький человек.

А еще день спустя наутро весь наш огромный восьмиэтажный корпус гудел: Риточка из девяносто шестой квартиры отравилась газом. Во двор с надрывным стоном заворачивали машины «Скорой помощи».

Было воскресенье, ни я, ни Инга не ушли на работу. Инга даже осунулась, зябко ежилась, повторяла удрученно:

— Надо же... Кто б мог знать... Надо же...

О мертвых плохо не говорят. К мертвым нужна бережность, к живым она не обязательна.

Только от великого отчаяния можно вот так, походя, схватить за рукав случайного, незнакомого человека, молить о спасении.

Вечера — трагическое время для благополучных.

На стене под электрическим светом полыхали ван-гоговские «Подсолнухи». Инга лежала на диване и читала книгу — пухлый сборник статей о кристаллических соединениях. Читала рассеянно, думала, глядя поверх страниц, наверняка тоже вспоминала Риточку.

А Риточка не выскочит уже больше на лестничную площадку, не взбудоражит соседей. Товарищеский суд так и не состоялся, но соседи победили.

— Инга, — сказал я, — шофера, сбившего ребенка, судят: не успел нажать на тормоз, а мог бы. Мог бы и я затормозить.

Инга отложила книгу, уставилась в сторону — темные глубокие глаза под гладким белым лбом.

— Что пользы бить сейчас себя по голове, от этого только голова распухнет, — ответила она.

У меня умная жена, на любой сложный вопрос может дать ответ. Даже на тот, который,

как квадратура круга, решения не имеет.

Я не затормозил, а мог бы... Не обязательно донкихотски бросаться на домком, наверное, нужно было только посочувствовать, чуть-чуть, пусть даже неискренне. Чуть-чуть дать понять — ты услышана. Звук неверного слова лучше сплошной глухоты, расстроенная способность двигаться лучше полного паралича.

Это что же, ложь лучше правды?

Но фальшь ресниц, фальшь Риточкиного голоса, после крика «не могу» поигрывание бедрами... И страшное, неопровержимое доказательство правоты. Что такое ложь? И что такое правда?

Ночью я не мог уснуть.

Темнота... В ней исчезает пространство, далеко, близко — какая разница, когда перед глазами непроницаемость. В мире, утерявшем измерения, раздолье для мысли, удаленная на шесть миллиардов световых лет галактика так же доступна мне сейчас, как окраина города.

Кто подскажет?

Инга?... Я же обязан известить ее. Мой долг открыться, а не прятаться. Самый близкий мне человек, ближе нет!

* * *

Вечера — трагическое время для благополучных. Но я уже давно забыл о благополучии, а потому стал больше страшиться утра, обещающего новый лживый день, постыдную нелегальщину: «Не дай бог, чтоб заметили...»

Вечерами я предоставлен сам себе, а значит, могу перевести дыхание.

И вот однажды вечером я набрался духу и подсел к Инге.

Теперь по вечерам она обкладывалась книгами. Их лаборатория заканчивала какую-то важную работу, руководителей, похоже, собираются выдвинуть на Ленинскую премию, перед Ингой же открывается возможность защитить кандидатскую диссертацию, перескочив аспирантуру.

Я знаю, что ей трудно будет меня понять. Меня пугает разговор, но что же делать, не сегодня, так завтра — миновать нельзя.

— Инга...

Она отодвинула книгу, положила обкусанный карандаш. Еще в студенческие времена я заметил за ней слабость — грызть в задумчивости карандаш, она не любила пользоваться авторучками.

— Инга.

Лицом к лицу, вплотную. Проникающий, внимательный взгляд, бездонный мрак зрачков, бездонный и загадочный, всегда смущавший меня. Я никогда не мог понять до конца, что у нее шевелится под чистым, неженским лбом. И бесстрашие в скулах, и твердые губы...

Сейчас я должен сообщить ей — шутка ли! — верю в бога! Ей! Которая всегда четко знает, что нужно и без чего можно обойтись, что достижимо, а что нет. У нее даже увлечения рассчитаны наперед. Расчеты не на выгоду, нет, личную выгоду она добронравно презирает, реально ли — вот ее мерило.

Мне сейчас нужно от нее немало — раздели со мной мою веру! И в оправдание не могу сказать ничего иного, как только — так хочу. А для Инги и свое собственное «хочу» — не закон. Любое «хочу» должно для нее быть доказано. Докажи я формулами, что бог существует, тогда она поверит и через «не хочу». Формулами — невозможно. На что я рассчитываю? Но если признаться, то уже задний ход дать нельзя — мол, пошутил, наваждение, забудь, отказываюсь. Инга пока не подозревает о моем двурушничестве, о моей другой жизни. Узнает — проникнется презрением...

Лицо к лицу, мрак зрачков, одно слово — и все рухнет, одно слово — и жизнь расколется. Не осмеливаюсь, молчу.

— Что с тобой? — В голосе тревога.

— Нет, ничего.

— Рассказывай, что случилось?

— Голова болит что-то. Ничего особого, с главным на работе сцепился...

Это у меня частенько случалось, частенько приходил домой с испорченным настроением.

Зрочки в зрочки, и в ее зрачках тревога.

— Ты какой-то, Юра... Какой-то изжеванный весь в последнее время. Что с тобой?

— Ровным счетом ничего, — ответил я сердито. — Пойду прилягу.

Я лег на диван, отвернулся к стене, спиной чувствовал взгляд Инги.

Никто не подскажет. Выхода просто нет. Жить дальше нельзя.

Ночью я тихонько прокрался в ванную комнату, запер дверь на задвижку.

Сияющий кафель стен, текущий глянец ванны, сверкание никелированного смесителя. Когда-то вот так же ночью, я обмирал здесь от полноты жизни — поставлена на рельсы, освобожден от тяжкого труда с натугой толкать ее вперед, сама покатится... Простой душе мнилось простенькое.

«Какой-то изжеванный весь...» Я встал перед зеркалом и начал вглядываться в себя с отвращением и с любопытством. Обычная, ничем не примечательная физиономия с бесхарактерным носом, нервические складочки в углах рта не вяжутся с простодушной полнотой губ. В молодости мне нравились эти складочки — печать одухотворенности! — жалкое щенячье тщеславие. Как невыгодно отличается эта ширпотребовски скроенная рожа от твердого, с пугающим лбом лица Инги. В последние годы я еще начал полнеть — рыхловатый жирок на щеках, щеки сейчас мяты, словно захватаны пальцами, под глазами темные, как подпалины, круги, сами глаза сухо блестят, сухо и как-то судорожно. «Изжеванный...» Физиономия алкоголика, пропустившего первые выстраданные сто граммов.

И этот-то Юрий Рыльников — богоноситель! И этот-то человек дерзнул ответить на величайшую из загадок — для чего живем, какой смысл, какая цель?.. Что случится, богоноситель, если ты исчезнешь? Кто заметит и кто пожалеет?..

Инга? Да! Но она принимает тебя за другого, сочинила тебя. Инга станет жалеть свое сочинение. Станет жалеть Танюшка, но она-то уж вовсе не догадывается, что из себя представляет ее отец.

Богоноситель... Где уж... Гнешься и качаешься под своей ношей. Инга раньше всех разглядит — двуличен, лжив, несмел. Рано ли, поздно разглядят и другие. Готовься к презрению, презирай сам себя. Этого не вынесла даже Риточка из девяносто шестой квартиры.

Как просто было бы спасти Риточку!.. Спасти, а зачем?.. Чтоб сохранить жизнь, ненавистную ей самой, жизнь, не нужную другим, досадную жизнь — сплошное надругательство над человеком. Спасти! Неискреннее человеколюбие мещан, оправдывающих этим и свое ничтожное существование.

Ванна, одухотворенный сосуд со сглаженными углами. Я слышал, что она может стать и орудием убийства. Нужно налить воды, лечь, лезвием безопасной бритвы вскрыть вену... Говорят, безболезненно, просто уснешь...

Я представил, как утром Инга находит меня в кроватной ванне, и содрогнулся... Только не это, нет! Инге такой подарок! От него не очнешься до конца дней. Нужно ненавидеть своих близких, чтоб преподнести такое, а я их люблю. И стоит ли спешить...

Я вышел из ванной.

А утром... Как часто утро все переворачивает наизнанку. Утром мне уже хотелось жить. Утром мои мысли потекли совсем по-иному.

У меня не было бога, безбедно прожил без него свыше тридцати лет, нашел, призвал,

принял. Но призвал-то его для того, чтобы было легче жить. А жить стало совсем не вмоготу. Так зачем же мне бог? Сам призвал, сам могу его и отправить обратно — не нужен, мешаешь. И все станет на свои места, не нужно будет кривить душой и прятаться — нормальный человек, похожий на всех. Просто.

Я почувствовал себя счастливым от этой простоты, я радостно сообщил Инге, что вчера на меня напала хандра, что теперь здоров, голова чистая, и вызвался проводить ее до метро. Инга сначала пытливо приглядывалась, не очень-то верила в мое полное выздоровление, но я — то искренне верил, как тут не поверить и ей.

— С переливами ты у меня.

— Шелковый.

— Да уж... — Инга ответила на мою шутку блуждающей улыбкой.

Выглаженное лицо, плывущая походка, под меховой шапочкой — сумеречная синь глаз, заставляющая оглядываться мужчин, — Ин-га!.. Вчера я дошел до точки, надо же — ванная, сюрреалистический кошмар. Забыть! Забыть, что было вчера! Как прекрасно сегодня!

А днем Олег Зобов положил мне на стол статью — ответ верующему учителю физики. Я, читая, поймал себя — коробит. Олег предложил поговорить, как физик с физиком, но где-то между строчек ощутимо давал понять, что эти физики далеко не ровня: один — ветхозаветный, ньютоновский, всю жизнь вдалбливающий детишкам нехитрые законы классической механики, другой — дитя Эйнштейна и Нильса Бора, ниспровергатель. И этот ниспровергатель язвил над физиками, которые открыли возможность объяснить секреты природы с помощью духа святого.

Статья коробила, и это испугало меня — опять за старое! Ну, нет, принимай, если хочешь жить, как все, не занимайся богоспасением.

— Реки, отче, — попросил Олег.

И я ответил:

— Все в порядке. Пойдет.

Я послал его статью в набор. И весь день ходил с ощущением, что проявил силу воли, победил собственную слабость — выздоравливаю.

Напрасно я напускаю мистику, моя болезнь не столь уж таинственна, просто испытываю некую информационную недостаточность, а в результате — духовный кризис, нарушение сложного процесса, который называется жизнью.

Возьми себя в руки и покончи с богом как можно быстрее! Иначе этот бог прикончит тебя. Шутка ли, ты начал уже грезить кровавыми ваннами.

Три дня бог был моим врагом, три дня я ходил в победителях. Я даже стал хорошо спать по ночам. Только одного не произошло за эти три дня — почему-то не мог заставить себя помечтать о ненаписанной книге, даже мысль о ней была неприятна. А в спокойное время неначатая книга — первое, о чем я начинал мечтать.

Через три дня в досыле пришла набранная статья. Меня вызвал главный редактор. Я-то не сомневался — уж раз мне понравилось, должно понравиться и главному, его мнение никогда не расходилось с общепринятым, а общепринятое — бога нет, верующие глубоко заблуждаются.

Главный сидел за своим столом, как нахохлившаяся курочка, — верный признак, что чем-то недоволен.

— Послушайте, — сказал он, пряча глаза, — что вы тут насочиняли?

Он подтолкнул мне мягкой ладошкой свежую полосу.

— А что? Вы же просили...

— Я просил — поаргументированней, а тут вместо аргументов щелчки с издевочкой. Придет наш журнал с этой статьей в провинцию — голос из Москвы... А в провинции всегда найдется какой-нибудь ретивый, который истолкует — раз в Москве пинают да издеваются, нам и подавно надо усердствовать. И начнут трясти этого старика. А он, может, последние дни доживает. Совесть надо иметь... И кажется, умные ребята, один вот-вот доктором

станет...

«Совесть надо иметь...» — и это говорил мне наш главный. Мне — он! А при всей своей природной доброте этот человек обладал весьма покладистой совестью, допускал ее в рамках дозволенного.

И как невинно ответил я ему: «Вы же просили...» Раз просили — готов! Готов вопреки совести.

И как я быстро забыл, что сам только что сходил с ума. Сходил и страдал, другие не смей! Старика учителя, похожего на своего отца, человека, который думает так, как сам думал вчера, топчите, трясите, позволяю, не жалко!

Но я же хочу вернуться к прежнему! К прежнему! А это возможно?.. Можешь ли ты, как прежде, верить в науку? Можешь ли из памяти выбросить разговор с веселым профессором? А сомнения в святости Зельдовича — Смородинского ты напрочь забыл? И случайно ли, что ты в эти дни не хотел думать о своей будущей книге?.. И от проклятого вопроса — для чего все живут, с какой целью? — ты можешь прятаться три дня, неделю, но не вечно, рано или поздно снова замечешься, снова кинешься к богу — выручай, без тебя не объясню!

А может, все-таки приспособишься от всего отмахиваться, от всего прятаться, лгать уже не только другим, но и самому себе. И для убедительности подбадривать себя — бей, души тех, кто не похож на тебя, жалеть незачем, не думай о совести, ее у тебя, насквозь изолгавшегося, просто нет.

Хочешь стать прежним? Прежний Юрий Рыльников был честным человеком, ты становишься прохвостом.

После этого незначительного случая все вернулось на круги своя. Не хочу жить, прячась и обманывая! Не хочу, но и не осмеливаюсь взбунтоваться, заявить все открыто: «На том стою и не могу иначе!» Рад бы, а Инга, а дочь, а как-то отзовется на них, как-то они примут мой бунт?..

Какой выход? Кто подскажет? Никто!

Остается одно: нет, не ванна и не лезвие бритвы, не кусок веревки... Инге это искалечит всю жизнь, всю жизнь страдать: не поняла, не разглядела, не предупредила. Я люблю ее, не хочу ей несчастья. Нет, не ванна, по-другому... Может же, скажем, произойти несчастный случай — электричка сбила зазевавшегося человека где-то на перегоне Лосиноостровская — Мытищи.

Решение зрело, но я тянул...

А тем временем пришла весна, по согретому асфальту девочки с косичками прыгали «в классики», городские скверы окутаны дымком проклюнувшихся листьев... Мне не исполнилось и тридцати трех, обидно уходить из мира, так и не досказав: «На том стою и не могу иначе!» А наверное, я смог бы доказать, если б не страх за семью. Наверное, я для чего-то пригоден. Богов для веры люди создают. Я смог бы участвовать в этом созидании.

Весна входила в город. Ползла из всех щелей пронзительная травка.

Я не могу жить, но не могу и умереть. Какой выход? И есть ли он?

Весна! Весна!.. В молодом скверике напротив расцвела юная вишенка. Листьев почти нет, только белая кипень. Есть ли выход?

Есть!

Я люблю дочь, люблю жену. На всем свете нет у меня никого ближе, никого дороже. Но именно потому, что они так близки, родны до боли, я должен от них бежать...

Весна! Весна! Свадебный куст вишни...

Сейчас мы все трое — Инга, дочь, я — прикованы друг к другу. Кандальные каторжники, мы не должны мечтать о свободе до тех пор, пока вместе. Мы любим друг друга и закрепощаем друг друга. Инга не может засесть за диссертацию, я не могу оставаться самим собой — не живу, а прячусь, трусливо лгу и притворяюсь...

Весна! Весна! Пора возрождения...

Мы любим. Рано ли, поздно эта взаимная крепостническая любовь вызовет ненависть и

вражду. Я уже задыхаюсь. Пора!..

У Танюшки не будет отца, у меня — дочери.

Но другого-то выхода нет.

А может, есть? Может, не навсегда, а только на время? Проветрись, остынь и — вернись.

Надеешься: у тебя пройдет, станешь прежним? Созревший плод не может стать снова зеленым. Есть процессы необратимые, и ты это хорошо понял на горьком опыте последних дней.

Не станешь прежним, не рассчитывай на прежнюю жизнь. У Танюшки не будет отца...

Исчезни! Изыди! Сгинь! Не свершишь это сейчас, случится позже — бредишь же кровавой ванной и зловещим стуком электрички...

Исчезни, пока не поздно! Куда?..

Туда, где есть похожие на тебя. А они есть, есть, письмо старого учителя — доказательство тому. Но только не к этому учителю. Жить рядом с тем, на кого навел, кого трусливо не посмел взять под защиту, жить и помнить о своем отравленном прошлом? Нет! Прошлое зачеркнуть!

Инга примет твоё бегство как предательство. Что ж, она по-своему права. Предательство, но последнее, чтоб больше уже не предавать никого. Простите, родные, вы ведь не захотите, чтоб я исчез иным способом.

Прости, Таня... «Избушка, изба, стань ко мне передом, к лесу задом». Я уже не смогу рассказать тебе самой главной сказки о добром нищем.

И вот яркий майский день, башня Казанского вокзала в голубом облачном небе, очередь у вокзальной кассы:

— До Новоназываевки, пожалуйста.

До Новоназываевки не доехал.

* * *

Стою сейчас посреди заброшенного кладбища, гляжу на облупленные стены заброшенной церкви, на пустую колокольню. Башни Казанского вокзала далеко в прошлом...

Ошибся, не там вышел, здесь бог давно не ночует. Надо искать дальше.

Отче наш, иже еси на небеси!

Да святится имя твое,

Да придет царствие твое,

Да будет воля твоя

Яко на небеси и на земли.

Мне надо бога. Мне надо хлеба. «Даждь нам днесь».

Инга еще пока ни о чем не догадывается...

Часть вторая

Река нежно обнимает лобастый холм. С высоты холма, с крутого лбища в мутную, еще не улегшуюся после весеннего половодья воду глядит коренастая церквушка. Избы полуизумленно отбежали за реку, в гуще драночных и тесовых крыш стоят дома не кондово избяной, а казенной, под железом, постройки — здесь магазин, здесь школа, здесь контора колхоза, здесь центр села Красноглинки.

В Красноглинке единственная во всем районе действующая церковь, а потому я упрямо пробивался сюда.

В конце прошлого века Чехов добирался от Москвы до Сахалина без малого три

месяца. Сейчас от Москвы до Сахалина лету каких-нибудь десять часов. Планета сократилась по размерам раз в двести!

Сократилась, но не всюду. Село Красноглинка теперь от Москвы дальше Сахалина, дальше Антарктиды. Я до него ехал шесть дней — сутки поездом и пять от станции через районный центр Густой Бор на случайных машинах. Пятисуточная одиссея по весенним непролазным дорогам: Чехов своим «конно-лошадиным странствием» сумел бы попасть сюда куда быстрее.

Во время пути у меня было достаточно времени разузнать о Красноглинке.

Первый человек там — некий Густерин, председатель колхоза, личность, судя по рассказам, легендарная. Никого в районе не били так строгаками, никого так часто не перебрасывали с понижением, не снимали с работы, как Густерина. По причине ли — «она меня за муки полюбила» или же «битый неслух ближе сердцу ласкового неука», но так или иначе, а нынче районное начальство, как к никому, относится к Густерину с уважением, хотя колхоз у него и не самый богатый...

Жила в Красноглинке еще одна личность, не менее знаменитая — поп Амфилохий. Он славился тем, что был красив, — даже неверующие девицы ездили из райцентра за тридцать километров в Красноглинку поглазеть на него и послушать. Он подписывался всегда первый на государственный заем, сразу выкладывал на стол многие тысячи, он красочно и вдохновенно ругал в проповедях греховную страну Америку и восхвалял космические спутники. Куда и как исчез отец Амфилохий — никто мне не сказал, но славу его хранят. Кто на его месте сейчас?.. А бог его знает, церковь-то действующая, значит, и поп быть должен.

Уборщица в районном Доме колхозника мне даже посоветовала, у кого могу остановиться в Красноглинке:

— Евдокия Ушаткова как перст одна, характером тихая, заботливая и не совсем еще стара, обиходить будет.

— Раз возле церкви живет, то, наверно, и в бога верит? — спросил я.

— Как не верить. Мужа-то у ней еще на фронте убили, а дочь лет десять тому назад похоронила. Замолишься. Да тебе-то что за беда, за свою веру она лишнего с тебя не попросит.

Евдокия Ушаткова — это то, что мне нужно.

Из окна избы тетки Дуси в наплывающих сумерках виден поросший молодой травкой тихий проулок, по которому бегают лишь отощавшие за зиму, со свалывшейся нечистой шерстью овцы. Над травянистым проулком, над черноземно-драночными крышами, над молодыми черемухами, даже над вскинутыми в небо на шестах скворечниками патриарше возвышается старая береза — ствол, как выветренная скала и угловатое переплетение костистых ветвей. Листья на ней растут местами — береза клочковато зелена, долгий век ее подходит к концу — усыхает.

Усыхает и Евдокия Ушаткова, тетя Дуся — маленькая голова туго стянута ситцевым платочком, на скулах сыренький вишневым румянец, нос острый, синичий, глаза запавшие, голубые, как поблекшие цветки ленка, суетлива, но без услужливости, разговорчива, но без назойливости.

— Уж не знаю, понравится ли тебе, сокол. Палаты-то мои не красны. Сама-то сплю в обнимку с горшками.

В просторной избе какая-то нежилая пустота, некрашенный, незатоптанный пол с узловатыми глянцевыми сучками, могучие, проморенные временем, отполированные задами не одного поколения лавки, на пол-избы печь, выбеленная серой известкой, под ней щербатые горшки, стол со скобленной столешницей, иконы в углу, безликие, сумрачно копотные, возле них — жестяной висюлькой лампада. Мой угол за занавеской, там все место занимает деревянная кровать с холщовым грубым матрасом, набитым сеном.

Я разбираю свой чемодан, вместе с электробритвой вынул свою потрепанную Библию — на ветхом кожаном переплете оттиснут крест.

— Никак, свяченное? — удивилась тетка Дуся. — Уж не веришь ли в бога, сокол?

— Верю.

Мое первое открытое признание, конец моей нелегальщине.

— Ну-тко! Вот уж по виду не скажешь. Видать, и в городе бога вспомнили... А что это за книга такая?

— Библия.

— Ох-ти, батюшки! Дай хоть в руках подержу. Издаля видеть приходилось, а в руках не держивала. Не-ет...

Всю жизнь у нее не сходило с языка имя Иисуса Христа, всю жизнь старалась жить по законам, записанным в этой книге и... «в руках не держивала...». Грубые, растрескавшиеся пальцы сейчас робко гладят потрепанный переплет.

Втихомолку, про себя я переживаю минуту недоуменной растерянности: как же так, не зная, верила — чему и кому?.. Но подкупают искренностью грубые, жесткие пальцы, робко ощупывающие святую для тетки Дуся и совсем незнакомую книгу.

— Слышь-то, сказывают — в ней все начисто записано, что наперед будет. И война наша давным-давно было загадана, и жди, мол: сатанинское пламя возгорится, так плохо будет, так плохо — смерти все станут искать. Страсти господни, сохрани и помилуй нас! Правда ли это?

— Нет.

— Как же так?

— Наперед предсказывают цыганки-гадалки, да и те врут, не краснеют.

— А читал ли ты, молодец, книгу-то?

— Не один раз.

— И вещего слова не приметил?

— Не приметил.

Тетка Дуся вздохнула.

— Но каждому, видать, оно открывается... Тут в нынешнем году к нам на троицу старичок приходил. Вострый старичок, на память чесал, как по писаному... Неужели сам выдумал вещие-то слова, в жизнь не поверю!

— Хочешь, я прочту тебе то место, которое считают вещим?

— А то нет?.. Господи! Господи! Помилуй и спаси нас...

Тетка Дуся с бережностью присаживается к столу, прикрывает горсткой рот, помаргивает льяными глазками в ожидании чуда. Я открываю Библию на откровении Иоанна:

— Вот слушай... «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны: она отворила кладезя бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи...»

— О господи! Господи!

— «... И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя...»

— Страсти господни! Дым-то этот будто бы уже не раз выпустили для проверки. Бонбой особой.

— «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям...»

— Свят! Свят! Велик бог во небеси. Все мы черви под ним.

— Ну вот и твои вещие слова: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Тетка Дуся глядела на меня горестно раскисшими глазами.

— Как есть, все сказано, как есть...

Верит и страдает, рада бы не верить. Что же заставляет?..

Сила слова?

Саранча, подобная закованным в латы коням, жена, облаченная в солнце, зверь с семью

головами и десятью рогами — далекие от жизни, потусторонние слова, бредовые образы, наивные страсти! Им трудно верить, но верят, уже много веков ждут в испуге нелепых предсказаний. Людей всегда страшит будущее, потому-то вера легко вырождается в суеверие.

— Как есть, все сказано. Ну, чисто все...

— Не прилетит из дыма саранча, не станет она мучить людей. Люди сами себя измучивают, рады свалить вину хоть на саранчу...

— Господи! Господи! Все мы грешники и к богу с прохладцей... Ты-то вот из молодых, чего тебя-то к богу потянуло? Аль тоже беда тряхнула?..

— Почему только от беды? Почему не просто так, справедливости ради?

— Э-э, милушко, люди — что колоды, лежнем лежат, толкнет вот в бок, тогда катятся.

— А тебя что толкнуло? Разве не с детства в бога веруешь?

— В детстве — одно, в детство мамка за руку в церковь водила, забылось это потом, думать не думалось. И что думать, когда муж в доме, когда хлеб на столе, когда сама здорова — износу себе не чаешь. Господи! Господи! Что уж зря лукавить, сколько лет жила так, иконы в углу для красоты держала. Господь-то и осерчал на меня. Мужа-то моего, как война, так на третий день... Помню, прибежал с поля: «Есть ли сухари, жена? Сушить новых некогда — срочно берут». У меня только-только хлеб вынут, теплый еще, сунула в котомку два караваев... Из тех, кто с ним ушел, двое вернулись — Федька Солодкин без ноги да Василий Ситников, что через два дома живет. Доченьке моей Клавдеюшке тогда седьмой годок шел. И сели мы с ней, голубь, на травку. В колхозе-то выдавали — на весь год аванс в фартуке несешь, за день съесть можно. Дочь-то росла, а ела ли когда хлеба вдосталь — не упомню. И одежки никакой, одни валенки на двоих — она в училище убежит, а я дома босая на печи сижу. Иной раз, бывало, раздумаешься — и варом обдаст: почто ты, доченька родимая, в такое время родилась? Но школу кончила, вроде и война давно позади, а травкой все одно в избе пахло, потом чуток полегче стало, так на тебе — сказала эта травка да травка. Все девки как девки — тоже, чай, не на сдобных булках росли, одна моя, что старушка, сиднем в избе, кашлять стала до крови. Уж я крутилась, уж врачам надоедала, у меня ведь иной радости нету, только Клавдеюшка. С ума бы мне сойти, умереть бы вместе с нею, так нет — не умерла, только когда хоронили, ум за разум зашел, мужики держали, чтоб в могилу не кинулась. Жива осталась, а почто?.. Одна-одинешенька, без подпорки, словно столб при дороге, даже родни близкой нет, а дальняя, вроде Мишки Ушаткова, — подальше держись от такой родни. Жить дано, а зачем?.. Вот тут-то и вспомнила о боге. Без бога, поди, недели бы не протянула, а как к богу-то повернулась — согрелась. И одна — да не одна, чувствуешь, что он рядом, — значит, жить можно. Только вот за людей иной час страх возьмет. Уж очень легко они живут, а вдруг да настанет тот день, что в книге Библии записан, — смерти станут искать, ан нет, даже этого не получишь. Хоть люди мне нынче никак не родня кровная — ни мужа, ни дочери, свояка не отыщешь, а все ж как не пожалеть беспутных... Ой, что это я лясы точу?! — вскинулась тетка Дуся. — Обрадела, что живая душа рядом, не наговорюсь никак, а время-то позднее и ты с дороги. Спи, молодец, тебе постелено уже. Ты спи, а уж я по-своему, по-старушечьи с богом потолкую. Растревожил ты меня...

Крохотный, недвижимый, словно железное лезвие, огонек лампадки не в силах осветить божий лик на доске. Где уж ему, крохотному, пробить едва ли не вековой слой копоти на иконе. Качается по занавеске тень тетки Дуси, течет шепоток, томится под потолком язычок лампадки, косматый сумрак бревенчатого угла обступает его.

Тетка Дуся, одинокая, словно межевой столб, тетка Дуся, чья связь с будущим, казалось бы, оборвалась на смерти дочери, молится. Ее, отвергнутую, пугает время грозной расплаты: «Люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них». Ей за себя бояться нечего, а вот за тех, кому предстоит жить дальше, за тех, кто, быть может, еще не родился, кто даже кровью с ней уже связан не будет, — за них страшно. Тетке Дусе, неудачнице, чужой среди современников, близки и дороги поколения, идущие ей

на смену, дорога их судьба. Это ли не величайшее бескорыстие? А сумела бы тетка Дуся прийти к нему, не имей она за душой бога? Всеобъемлющая, всеобъединяющая надежная гипотеза. Нуждаюсь в ней я, нуждается тетка Дуся, нуждаются все, она порождает любовь настоящего к грядущему. Для такой обездоленной тетки Дуси, наверное, не существует слова «чужой», а от этого легко живется ей, одинокой, нет чужих, все свои, даже не родившиеся.

Качается по занавеске тень, течет невнятный шепоток к богу, спрятавшемуся за вековую копоть.

Теперь меня удивляет, что находятся такие, кто считает своим долгом отобрать у тетки Дуси ее бога.

Висит над занавеской в косматом припотолочном сумраке легкий, как крыло мотылька, огонек, скользит тень по занавеске... Тетка Дуся разговаривает с опекуном, он всемогущ, он справедлив, никогда не ошибается, по-отцовски добр, по-отцовски суров. Не верь — опиум! А легко ли осилить тетке Дусе одинокую жизнь без этого опиума!

Отче наш, иже еси на небеси!
Да святится имя твое...

Шепоток в темной избе...

Я еще не умею разговаривать с богом. Не верю, что он может услышать. Икона с копотью для меня не святость. Сумею ли?.. А как хочу! Как хочу!

Заснул я незаметно под шепоток.

Первая ночь в селе Красноглинке.

* * *

У него было много противников — одни исчезли, других заставил считаться с собой. Он из тех, кто должен носить печать победы на челе. Меня и прежде пугали победители, потому что доказывать свою победную силу можно ведь только за счет чьей-то слабости.

Я вошел в кабинет Густерина.

— Можно к вам, Валентин Потапович?

За столом сутулился лысый человек, внимательно читал, но не деловые бумаги, а какую-то книгу. Поднял голову, взглянул с учительской строгостью сквозь очки в старомодной железной оправе. Потертый пиджачишко, рубаха в полоску, застегнутая до подбородка, лицо загорелое, задубенелое, изрытое крупными морщинами, рыжие жесткие усы и выражение легкого напряжения во взгляде, какое бывает только у близоруких.

— Садитесь, одну минуточку...

Пошарил на столе рукой, нашел карандаш, что-то пометил в книге, откинулся на спинку стула:

— Я вас слушаю.

— Хочу просить вас — устройте на работу. Вот...

С излишней поспешностью я выхватил из кармана документы, положил на стол. Когда клал, разглядел отодвинутую Густериным книгу «Исследования по истории опричнины» академика Веселовского. Председателю колхоза знать ее вовсе не обязательно.

Густерин сдержанно, с прищуром, сквозь очки оглядывал меня, странного для Красноглинки типа, — мятый, но добротный костюм, серая ворсистая кепка, трехдневная щетинка на интеллигентной физиономии (у тетки Дуси не было в избе розетки, куда бы я смог включить свою электробритву). Густерин оглядел, ничего не сказал, склонил лысину и принялся внимательно изучать мой паспорт.

А я его — от объемистой лысины до крупных мослаковатых, с обломанными ногтями рук.

Право, мне хорошо известны люди простоватой наружности с обломанными ногтями

на огрубевших пальцах, жидко, урывками глотающие то, что на практике им никогда не понадобится. «Исследования по истории опричнины» Веселовского... Мой отец был из таких. Периферийный учитель физики, он хорошо знал работы Гельвеция, Канта, Шопенгауэра, но до конца жизни так и не смог толком разобраться в теории относительности. Интеллигенты с «мужицкой косточкой», провинциальные утописты, в одиночку для себя решающие проблемы переустройства мира. Не из них ли Густерин? Нет, навряд ли, утописты никогда не могут заставить кого-либо признать себя. Этот же заставил считаться с собой даже начальство.

— Москвич?

— Да.

— Образование высшее?

— Да.

— По какой специальности?

— Физик-теоретик, но научной работой не занимался, был научным популяризатором.

— Это что же, лекции читали?

— Нет, работал в журнале... — Я назвал свой журнал.

— Та-ак... — озадаченно произнес Густерин, настороженно поблескивая стеклами очков. — Так-ак... А если начистоту: милиция следом за вами не явится по розыску?

— Нет, не беспокойтесь.

— Приятно слышать. Значит, популяризировали науку?.. Та-ак... Физик-теоретик?.. Та-ак... Я бы вам предложил раз в неделю выступать у нас с лекциями. Темы сами выберете. Хотите рассказывать — есть ли жизнь на Марсе, хотите — о строении атома. Только доступно.

— Нет.

— Почему?

— Потому что аппетит приходит во время еды. Сначала попросите рассказать о Марсе и о звездах, потом о происхождении мира, а там потребуете: докажи научно — бога нет. От этого-то я как раз и сбежал.

Густерин долго-долго вглядывался в меня.

— Не хотел влезать к вам в душу, — произнес он, — пытать — отчего да почему. Но уж раз сами заговорили, то договаривайте до точки. Почему сбежали?

— Разошелся с общепринятыми взглядами на религию.

— Верующий?

— Да.

Молчание. Густерин продолжал ощупывать меня из-за очков.

— Слышал, что такие люди есть, но, признаться, не рассчитывал увидеть воочию.

— У вас же под боком действующая церковь, значит, верующие для вас не могут быть диковинкой.

— Есть. Бабка Пестериха, бабка Лухотина, Евдокия Ушаткова — хватает, но они институтов не кончали, не физики-теоретики... Для меня встретить вас — все равно что увидеть в колхозной конюшне зебру.

— Но надеюсь, что ваше удивление не помешало бы запрячь зебру в телегу?

— В какую? Хотел впрячь вас в руководство клубом. Оказывается, этот хомут у зебры полосатой холку трет.

— Научным пропагандистом я мог оставаться и в Москве, не стоило ехать в Красноглинку. Прошусь простым колхозником.

— Вы умеете водить трактор или комбайн?

— Нет.

— Сможете установить электрооборудование на механизированном току?

— Нет.

— И плотником никогда не были?

— Нет.

— Ну, а лошадь запрячь тоже не умеете?

— Тоже нет.

— Могу поставить вас только на земляные работы.

— Хорошо.

— Работа тяжелая.

— Что ж...

Густерин как-то грустно повесил лысину:

— Черт те что! Физик-теоретик, подпоясанный ломом.

— Пусть вас это не смущает. Я и сам рассчитываю скоро забыть, что когда-то учился на физика.

— Видно, не в коня корм... Фрося!

Появилась одна из девиц, сидевших в соседней перед председательской комнате.

— У нас есть рабочая одежда? — спросил меня Густерин.

— Все на мне, — ответил я.

— На вас обмундировочка для прогулки по улице Горького... — Кивнул застывшей у двери Фросе: — Пусть выдадут резиновые сапоги, брюки и старый мешок помягче — на портянки.

— Брюки только ватные, Валентин Потапович.

— Летом-то... Вот что, сведите его прямо сейчас к Пугачеву, скажите, что этот гражданин выразил горячее желание копать у него навозохранилище.

На круглом, как луна, лице Фроси удивление, но, впрочем, довольно умеренное.

— И скажите, что не найдем ему рабочие брюки, пусть уж Пугачев сам что-нибудь сообразит. И еще передайте мое сердитое: по-жеребьячи не ржать, если этот доброволец на первых порах не сможет отличить у лопаты цевье от штыка... Пусть учат и помогают... И, наверное, вы без денег, физик?

— Признаться...

— Выпишите ему авансом пятнадцать рублей. Извините, у нас гонорары скромные, авансы даем небольшие... Выпишите — не на земле, так на чем-нибудь другом отработает. Паспорт его возьмите, у себя оформите и в сельсовет сообщите, что Красноглинка обогатилась новым гражданином... Есть у вас какие-нибудь ко мне вопросы?

— Нет, — ответил я. — Спасибо.

Густерин потянулся за «Исследованиями по истории опричнины».

Нас трое землекопов — Санька Титов, Митька, по прозвищу Гусак, и я.

Санька — приземистый, угрюмо молчаливый парень. Он казался вялым, неповоротливым, ленивым, но так только казалось — копает, как машина, не успеешь оглянуться, а уже ушел по колено в землю. Митька Гусак меня предупредил: «За ним не гонись. Гналась собака за мотоциклом, да на полдороге сдохла».

Сам Митька ошпаренно-краснолиц, безбров, вечно весел, блестит белозубой улыбочкой. Он называет себя «штрафничком»: торговля в сельповском ларьке, да уличен в мелкой растрате, до суда не довели — пожалели, но с торговой точки сняли, замаливает грехи лопатой.

Митька подарил мне старые холщовые рукавицы:

— Одну тебя и обую, чтоб груши не околачивал. По-божески, как в святом писании.

И заговорщически подмигнул мне: мол, знаем, что ты за птица.

Спасибо Митьке, я и в рукавицах-то натер себе руки до мяса, а что было бы без них?

Мы втроем копаем большую яму — навозохранилище, эту яму потом обложат кирпичом, зацементируют, плотники возведут над ней здание — типовой коровник на сто шестьдесят голов.

Плотников пятеро, главный из них — Пугачев, бригадир строителей, и мы, землекопы, у него в подчинении. Он суров на вид — татарская широкая физиономия из-за тупых торчащих скул кажется вогнутой, словно медная чаша, узкие глаза горячи, ноги чуть

кривоваты, походка враскачку — ни дать ни взять воин Чингисхана, такому бы по степи на коне скакать, а не обтесывать топором бревна. Я щеголяю в его штанах — «шибко глазасты», — колени и зад в заплатах: «Ну да красоваться тебе здесь не перед кем».

Самый пожилой, самый степенный из плотников — лысина ничуть не меньше, чем у председателя Густерина, внушительный твердый нос — Михей Карпыч, за свой нос прозванный «Руль». С ним работают двое его взрослых сыновей, погодки Ванюха и Пашка, тоже смиренно-степенные, неразговорчивые, тоже, как отец, носаты, обоих зовут по отцу «Рулевичами». И еще пятый плотник — соломенно-буйноволосый, нос пуговицей, губы девичьи, пухлые, щеки тугие и вызывающе румяные — Гриша Постнов, паренек с принципами и твердыми планами. Он окончил год назад десятилетку, попробовал с разгону поступить в институт, но срезался, собирается поступать снова, а пока суд да дело — «зашибает топором копеечку». Густерин плотникам платит щедро... На сброшенном с плеч франтоватом Гришином пиджаке всегда лежит книжка...

Такова бригада, в которую я попал. Нет пока каменщиков, но они еще нагрянут.

Я не сразу всех разглядел, в первые дни мне было не до того, чтобы приглядываться.

Пугачев строгоноcko приказал Саньке Титову, «классному» землекопу:

— Ты собой теперь не очень увлекайся, ковыряй да одним глазом посматривай на новенького.

И Санька добросовестно косил на меня, хмуровато подкидывал советы:

— Ты коленом помогай грабарке... Вот так... И не тужься лишка, а то об...

Через минуту — новый совет:

— Не хватай полную с горушкой — к концу дня лопнешь, наверх-то кидаючи.

А Митька Гусак, кому не доверили мое обучение, скреплял «духовными» сентенциями:

— Работа — богу дар, когда из ж... пар.

Кой до чего я доходил и сам, без наставлений — беря штык, не дави лишь ногой, жми всем телом, не захватывай жадно, не захватывай и скупое, ровно столько, чтоб можно без усилия отвалить.

Но село недаром называлось Красноглинка — стояло на тугой глине, пот разъедал глаза, пот, как слезы, орошал красноглинскую землю, плечи становились деревянно непослушными, в руках появлялась дрожь, нога срывалась с лопаты...

«Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей... В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят...» Красноглинка...

— Перекур! — раздавалось сверху.

Я еще из последних сил ковырял раз, другой, чтоб не первому бросить работу, сдерживая стон, разгибался, лез за Митькой Гусаком наверх.

Мокрое тело обдувает ветерок, от бревен, от свежей, девственно чистой щепы пахнет смолой, бездонно и голубо небо, грозиво синее лес за накатным зеленым полем — прекрасен мир, прекрасен покой, великое счастье, что можно все видеть, все слышать и не подавать самому признаков жизни.

Меня не трогали, со мной не заговаривали — понимали, что я полутруп, едва способный видеть и осязать. Только Митька Гусак не удерживался, чтоб не отметить:

— Сварился, браток.

А где-то рядом курили, умиротворенно беседовали — нет дождей, а нужны бы, не пора ли звать каменщиков, ямы-то под фундаменты готовы, Гришка Постнов, зеленый работничек, поднапортачил — взял затес широко. Говорили и обо мне так, словно меня и не было рядом:

— Надо бы еще человека на яму — новенький жидковат.

— Оклемается. Старание-то есть.

А я слушал, и ничто не шевелилось во мне, все слова проходили мимо. Важен только ветерок с поля, только смолистый запах щепы, только необъятный голубой свод с тугими дремотными облачками и покой, покой, покой — счастливая неподвижность. Но как она

коротка!

— Поднялись, что ли?..

И я приводил в движение свое непослушное, скрипящее суставами тело, сначала садился, секунду отдыхал, потом, стиснув зубы, подымался, шагал к яме. Из нее неприятливо тянуло влажной глубинной прохладой. Пальцы рук в холщовых рукавицах, казалось, совсем окостенели — не разогнуть, не зажать цевье лопаты. Но кой-как зажимал, мало-помалу разогревался, и снова пот в глаза, пот на разворошенную тяжелую землю. Село Красноглинка — тугая глина ему опорой. «В поте лица твоего будешь есть хлеб...»

До полного истощения, до спасительного выкрика:

— Перекур!

Первые дни добирался до крыльца избы тетки Дуси почти на четвереньках. Но самое страшное — утро, когда вопил каждый мускул, каждый сустав прочно срастался, страшно подумать, что надо зашевелиться, но надо — подымал с жесткого матраса свое страдающее тело, и пальцы за завтраком не могли держать деревянную ложку.

В эти дни я ни о чем не думал — ни о смысле жизни, ни о боге, не вспоминал московский дом, Ингу, дочь... С лопатой в руках я отвоевывал себе право жить в Красноглинке, жить под нищей крышей тетки Дуси, питаться картошкой в мундире, стонать от ломоты и тупой боли по утрам.

Но пришла минута, когда я не упал пластом на траву, а сел вместе с другими на бревна, почувствовал, как сладок горький махорочный дым минутного отдыха.

* * *

Тетка Дуся встретила меня на крыльце:

— Гостюшко к тебе. Отец Владимир пришел познакомиться. С час, как сидит.

Я уже знал, что отца Амфилохия, красавца и ратоборца с «греховной Америкой», заменил другой отец — Владимир. До сих пор я не помышлял познакомиться с ним, до него ли, когда полумертвый едва добираться до постели.

Раза два за это время заходила к нам бабка Пестериха, она же церковный староста, она же в обиходе красноглинских баб-верующих — сестра Аннушка. Этой общей сестрице перевалило уже за семьдесят, водянисто-одутловатая старуха, на студенисто-желтом лице приплюснутый нос, волосатая бородавка под правой ноздрей, натужная, с сипотцой одышка. Она разгибалась у порога и, угрожающе уставившись в угол, в полном молчании долго и размашисто крестилась.

— Бог помочь, добрые люди.

Деревянная клюка громыхала по половицам от порога к лавке. Сестра Аннушка садилась, прямая, неприступная, заводила сердитую песню:

— Объясни, мил человек, что это ныне в мире стряслось? Выходит, образованным снова в бога верить выгодно стало. Иль скажешь — без выгоды? В жисть не поверю! Чтоб образованный, со сноровкой, из самой Москвы-матушки к нам, в нашу дыру, скок-поскок, просто так — здорово, ребята! Ни в жисть!.. Что-то есть. Это наша вера чиста, как стеклышко, мы здесь люди без хитрости — для бога все, с бога нам ничего... Не корыстны-ы...

Я не возражал, я мечтал тогда только упасть в кровать, а потому шел за занавеску, ложился и засыпал под сурово бубнящий голос:

— Спаситель-то наш сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи!» То-то что горе, когда книжники к вере снова дорвутся. Образованные-то на бога с высоты поглядывают...

Сейчас я уже не так устал, могу встретить отца Владимира честь по чести. Можно считать — он угадал явиться...

Отец Владимир... Вот так отец!

Навстречу мне с лавки поднялся тощенький юнец — большие уши подпирают поля

шляпы, битнические космы, узкое бледное лицо, не столь прозрачная, сколь призрачная борода, несмелая улыбочка, собирающая сухие ранние морщинки на запавших щеках, мешковато висящий пиджачок, брюки, заправленные в кирзовые голенища больших сапог. Отец Владимир моложе меня лет на семь по крайней мере.

— Извините... Дошло до меня... Если так, то весть благая...

— Рад с вами познакомиться... Да вы садитесь.

— С вашего разрешения.

Он был очень конфузлив, этот юный отец. Снял с головы шляпу и не знал, куда ее деть. Прямые бесцветные волосы падали на воротник, на щеки, но не закрывали мальчишеских больших серых ушей. Затылок у отца Владимира плоский, какой-то беззащитно трогательный.

— Позвольте вас спросить прямо, — проговорил он, мучая шляпу. — Это правда? Вы разделяете?..

— Говорила же я или повторить?.. — ответила тетка Дуся, собирая на стол. — Верует. И Библию всю от корки до корки прочел.

— Невероятно!

— Что тут невероятного? — спросил я. — Вы вот тоже верите.

— Невероятно, что такой человек появился в Красноглинке. Бог услышал мои молитвы!

— Ваши молитвы?..

— Истинно! Я ждал вас!

— Меня?

— Не лично вас, конечно, но вроде вас. Да нет, что я, мечтать не смел.

— Право, не понимаю.

— Но позвольте, позвольте рассказать... Я из Прибалтики. Окончил семинарию. Моя мать была глубоко верующей, в детстве она бросила в меня семя веры. Отца не знаю и не хочу знать, по рассказам, он был весьма нехороший человек — запойный пьяница и ругатель. С детства я ничего иного не желал, как нести людям слово божие. Исполнилось — получил приход, а это... не так легко теперь получить. И все хорошо, все хорошо, не жалею, но порой бывает тоскливо. Ведь я тут один... Впрочем, нет, конечно, не один... Но все, кто прислушивается здесь к слову божьему, знаете ли, в годах... и что скрывать — темны. Нет, нет, не попрекаю этим и не обижаюсь, грешно даже думать, но иногда душно, душно — старые лица, жалобы на болезни, рассуждения чаще самые ничтожные. Ох, как порой хочется услышать свежее слово, увидеть свежее лицо! Но ведь я для всех поп Володька. Кто чуть-чуть образованней — от меня нос воротит или же с первых слов норовит доказать, что бога нет. Молил господу, чтоб послал мне человека понимающего, с кем на равных бы слово сказать... Не смел надеяться, а исполнилось! И кто? Из Москвы! С научным образованием! А правда ли, что вы тот самый Рыльников, что освещающие статьи в журналах помещал?..

— Был тот, да, видимо, с тем покончено.

— Понимаю! Понимаю! Никто этого здесь не поймет, а я понимаю и преклоняюсь!.. Статьи ваши я читал. Да, да! Может, удивительным покажется, а я журналы выписываю, особенно такие, которые о науке сообщают. Великое удивление охватывает перед дарованным господом разумом. Я и научно-фантастическую литературу люблю. Братьев Стругацких весьма чту. Проникновенно пишу.

Отец Владимир передохнул после своей пылкой проповеди, на впалых щеках выступили красные пятна, глаза, блестя невылившейся слезой, почти влюбленно глядели на меня.

— Вы давно уже здесь?

— Третий год пошел. А до этого, считай, приход с год пуст стоял. Прежний-то священник, можно сказать, правдой или неправдой сбежал отсюда.

— Почему?

— Буду откровенен перед вами — корыстный был человек. До изменений жил широко — лошадь держал для разездов, мог бы машину иметь, да это в глаза бросалось, а так — дом полная чаша, ковры, мебель дорогая, деньги направо-налево швырял, в Москву и в Ленинград ездил просто так — проветриться. А тут перемены, доходы урезали...

— Какие перемены? Верующих стало меньше?

— Верующих не меньше, только церковными деньгами теперь уже не священник распоряжается — церковный совет. Не своя рука владыка, из чужой получи, да не больше, чем назначено. А церковным старостой у нас сестра Аннушка, кажется, имеет честь знать ее?

— Имею честь.

— Она не расщедрится. Отец Амфилохий год терпел, два терпел и не вытерпел. Был — да нет, похоже, даже сан с себя снял.

— Ну, а вам как?

— Мне — что. Сыт, одет — и ладно. Вот только тоскливо. Горжусь своими святыми обязанностями, жизни не пожалею, чтоб слово божье донести, но и самому живое слово услышать хочется. Могу ж я хотеть малого?

И он так беспомощно и просяще поглядел на меня, что я поспешил его заверить:

— Можете.

— Господи! Мог ли помыслить, что меня здесь с полуслова понимать станут! Господи! Радость для меня великая! — И отец Владимир замаялся. — Не осмелюсь предложить, но отметить эту радость хочется. Я же к вам — не как облеченный саном, не-ет, как человек к человеку... Осмелюсь ли?..

Он вдруг откуда-то из под полы своего мешковатого пиджака вытянул поллитровку.

— Праздник отметить...

И отчаянно побагровел, заметив мое изумление.

— Ох, батюшко! Грех все же... — заметила тетка Дуся.

— Но могу же я на минуту забыть, что я не поп Володька, тоже человек, как и все! — Звонкое мальчишеское отчаяние в его голосе.

— Можете. Дуся, подай стаканы.

Закатное солнце вызолотило тихий травянистый проулок за низенькими оконцами.

Мы сидели друг против друга, тетка Дуся — сбоку на уголочке с пылающими щеками, с покрасневшим лоснящимся носом — тоже после долгих отнекиваний пригубила стопочку.

У моего нового товарища, отца Владимира, возбужденно розовели большие уши. После восторженных признаний в мой адрес: «Великую душу нужно иметь, чтоб решиться... Подвиг апостольский!» — разговор затронул Апокалипсис Иоанна, которым я в первый красноглинский день просвещал тетку Дусю.

Я высказал свои соображения:

— Здесь неверие в торжество добра, если хотите. Иоанн Богослов, один из учеников Христа, волей или неволей тут выступает против человеколюбивых принципов своего учителя.

У отца Владимира округлились глаза, дрогнули битнические космы на висках.

— Странно, — придушенным шепотом выдавил он.

— Что же странного?

— Так можно все святое писание под сомнение поставить.

— А разве вы всему верите, что написано в Библии?

— Каждому слову, каждой буковке!

— Даже тому, что в первый день творения бог создал свет, а звезды, луну, солнце только на четвертый? Свет раньше источников света? Этому верите?

— С первых строк вам пробный камень бросается. Испытание! Осилите себя, переступите соблазн неверия, — значит, прошли проверку, значит, верующий.

— Но ведь легче всего такой экзамен выдержит доверчивый идиот. Неужели богу интересней иметь дело с безмозглыми дураками?

— А вы забываете, что Христос сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное»?

— Это звучит для меня как оскорбление Христа. Выходит, он настолько не уверен в себе, что предпочитает блаженных и юродивых нормальным людям, бессмыслицу — мысли.

— Но это же вопиюще! Вы, оказывается, неверующий! — выкрикнул отец Владимир.

— Нет, верующий, но не из блаженных. Способен критически осмысливать, отметить нелепицы, брать полезное.

— Сначала не поверите картине творения, потом мимоходом посомневайтесь в словах учителя, дальше не поверите в исцеление Лазаря, в насыщение пяти тысяч пятью хлебами, наконец, будете отрицать божественное вознесение на небо, поставите под сомнение самого Иисуса Христа? Какой же вы верующий после этого?

— Совершенно верно, в фантастические чудеса, приписываемые Христу, не верю, но это нисколько не мешает мне верить Христу, именем бога зовущему людей к взаимопониманию!

— Христос без чудес!

— Без чудес он мне ближе, понятней.

— Христос без чудес! Обычный человек уже не сын божий! Обычных, хороших, добрых людей прошло по свету видимо-невидимо. Вы хотите, чтоб Христос затерялся среди них? А он тем только ценен, что единственный, неповторимый. Христа-спасителя отнимаете у людей своим неверием!

— А мне, собственно, все равно, из чьих уст люди услышат нужное слово, лишь бы это слово помогало людям жить.

— Нет! Нет! Вы не верите! — Голос отца Владимира дрожал.

— Тогда объясните, что же меня сюда занесло?

— Вы не верите, вы только хотите верить! И не можете! Жажда веры — еще не вера!

В это время за дверями в сенях раздался стук палки.

— Сестра Анна идет! — всполошилась тетка Дуся. — Бутылку хоть со стола, от греха подальше...

Но было уже поздно. Сестра Аннушка, пыхтя, переступила порог.

Она скользнула взглядом по столу, по нашим лицам, выпрямилась, с обычной величавостью принялась размашисто креститься в угол, не произнося ни слова.

— Та-ак! — наконец сказала она, простучав палкой к лавке. — Та-ак... Рада бы честь честью молвить: бог помочь, да язык не повернется. Дела-то делются безбожные.

На разгоревшемся лице отца Владимира появилось покорно тоскливое выражение.

— Чего присмирели-то? — продолжала сестра Аннушка. — Давайте дальше, что стесняться-то, божьи угоднички. Ну, с образованного спрос не велик. Книжники да фарисеи — народ заклятый, про них в святом писании сказано: «Любят предвозлежания на пиршествах». А вот ты-то, батюшка, чин священный срамишь, посмотришь в зеркало — лик перевернутый, волосья дыбом... Пастырь духовный, ан нет, на чучелу огородную смахиваешь.

— Хватит! — тоненько крикнул отец Владимир и с размаху стукнул узкой ладошкой о стол, зазвенели стаканы. — Сил нет сносить! Шагу не ступи, словом не обмолвись — слезка, укоры, по струнке ходи! Бога любите, а к людям злобны! Про фарисеев вспомнили, так вспомните, что Христос им ответил, какая наибольшая заповедь в законе. Возлюби господу и возлюби ближнего твоего. Обе равны, на обеих закон держится! У вас только один костыль. Хромаете!

Сестра Аннушка выслушала не дрогнув:

— Вовсе пьян, пастырь. Иди-ко проспись.

— Я не к вам в гости пришел! Не смейте гнать!

— Мотри, батюшко, мир-то на моей стороне будет, коль до большого спору дойдет. Мир и попросить может, чтоб прибрали тебя от нас. Куды ты денешься, такой ледащий,

скажи спасибо, что здесь держим.

Отец Владимир схватился за волосы и застонал:

— Стыд-но! Стыд-но! Что я вам сделал?.. Перед чужим человеком! Что он подумает? Что?! Стыд-то какой!

В его стоне я услышал вопль о помощи, вопль слабого, забитого человека. И, едва сдерживая себя, я спросил:

— А любите ли вы бога, сестра Анна?

В избе стало тихо. У отца Владимира остекленели еще не остывшие от обиды глаза. На сестру Аннушку нашел столбняк, желтое водянистое лицо стало восковым, рытвины обозначились на нем. Тетка Дуся неловко стукнула о стол чашкой.

— Я что-то сомневаюсь.

— Я?.. Я?.. Бога?..

— Вы язычница, Анна. Не христианскому богу, а злему мамоне поклоняетесь.

— О господи, — тихо охнула тетка Дуся. — Уж так-то зачем?..

— Для вас бог — дубинка, чтоб дубасить ближнего по голове. Тот нехорош, этот плох, кого ни возьми — все богу не подходят. Выходит, бог-то для вас одной, вам только служит. Не верите вы в бога — пользуетесь им. И бог-то ваш единоличный — злобный, мелочный, вам под стать. Разве может он служить опорой людям? Какой он бог, идола себе сотворили, сестра Анна!

— Это я?.. Я? Идола?.. Я язычница?.. Да кто из вас столько претерпел за бога?.. Да я за веру нашу православную, вот она знает, — кивок в сторону тетки Дуси, — в тюрьму пошла, под ружьем меня водили лес рубить... За бога, за веру нашу... Не отказалась!.. — Сестра Анна задышалась.

— Терпели? Может быть. Только много ли пользы от вашего терпения другим? Вытерпели, отвоевали, чтоб синяки ставить своим богом-дубинкой. Вы вот скажите: хоть раз в жизни вместе со своим богом доброе дело кому сделали?..

— Вот они, господи! Вот они объявились, антихристы! Образованные, язык-то ловко подвешен, с белого на черное повернуть умеют. Да за что же мне напасть такая на старости лет?! Дуська! Ты-то чего столбом стоишь? Мы-то с тобой сызмала знакомы. Ты-то знаешь, на что я пошла ради веры-то! И молчишь! Под твоей крышей срам терплю!

— Будет вам, право. Распетушились, спасу нет, — вступилась тетка Дуся. — И ты, Юрка, охолонь, круто не бери, Аннушка-то тебе не в матери, в бабки годится.

— Господи! Господи! Где правда? — по-детски со всхлипом выдохнул отец Владимир.

— Вот они, образованные-то, от них зло. От них не спрячешься, во все щели лезут. К нам нутко в Красноглинку... И в горло, в горло!.. — Сестра Аннушка стала с натугой подыматься, выражение на ее оплывшем лице было страдальческое.

— От образованных зло. — Я повернулся к отцу Владимиру. — Слышите? Ей выгодно — «блаженны нищие духом». Среди темных да духом нищих раздолье такой праведнице, легче своим богом-дубинкой пустые головы проламывать.

— Господи! Господи! Где правда?..

— Попомни, Дуська! Давно такого сраму не терпела. Уж не чаяла, что в твоём доме на такое нарвусь...

Колыхаясь дряблым телом, сестра Аннушка выплыла в дверь, палка сердито простучала по сенцам.

— У меня на чужом пиру похмелье, — грустно промолвила тетка Дуся.

Отец Владимир скорбно сморкался в платочек.

А я вдруг с какой-то пронзающей отчетливостью, словно вынырнув из глубокого сна, увидел перед собой темные бревенчатые стены, паклю в пазах, щели, где прячутся тараканы, серую печь с разверстым зевом, щербатые горшки, ухваты, тетку Дусю в замусоленной бумазейной кофте.

— Господи! Господи!

И где-то далеко-далеко отсюда — неправдоподобно прекрасный мир: асфальтовые

прямые улицы, людская сутолока на тротуарах, потоки машин, комната с солнечными, яркими ван-гоговскими «Подсолнухами» на стене, книги, книги на полках, Инга, плывущая в электрическом свете... Далеко-далеко! Да жил ли я когда в том мире? Было ли?

— Господи! Господи!

Скорбно сморкающийся в платочек батюшка Владимир, отец-парнишка, полчаса назад радовавшийся столь малому — на минуту удалось стать человеком! И где-то сейчас, сердито сопя, вонзая в землю деревянную клюку, волочит ноги сестра Аннушка... К ним ехал, ради них бросил дочь, жену, налаженную чистую жизнь, работу, которой интересовались сотни тысяч читателей нашего журнала. Да было ли?.. Неправдоподобно!

— Ну, я уж пойду... Извините, что так случилось... У меня ведь в жизни всегда — чуть радость какая, и сразу же за эту радость по голове, по голове... Пойду. Извините...

Я не стал удерживать отца Владимира. Не дай-то бог, чтоб он остался и снова принялся требовать от меня безоговорочной веры. «Жажда веры — еще не вера!» Да есть ли во мне и эта жажда? И что такое вера?.. По словам правоверного отца Владимира, это просто наивное бездумие: верь против здравого смысла, вопреки очевидности, «блаженны нищие духом»... Но я же сам сомневался в полезности разума, упрекал науку в бессилии и бесплодии, завидовал таракану — сохранил себя в течение трехсот миллионов лет! Значит, вернись к таракану, там-то уж полное отсутствие духовного, духовная нищета до нуля. И господь милостив к таракану, завидно долго сохраняет его.

Чушь какая-то.

Так что же такое вера?

И жажду ли я ее?..

* * *

Тетка Дуся была расстроена и недовольна мной.

— Много себе позволяешь, сокол. Тебе ли судить Аннушку. Кто у нас и крепок в вере, так только она.

— Дуся, а тебе лучше от ее веры?

— А я, золотко, корысти-то не ищу для себя. И Аннушка не корыстна, напрасно ее облаял.

— Тогда бы мне пришлось слушать, как она меня и других облаивает.

— Снеси, не убудет, помоложе, чай.

— Разве старость дает право на злобу и на несправедливость?

— Жизнь дает, а ей в жизни покруче твоего пришлось. Слышал, в тюрьме сидела. Ты на какой церкви ныне колокола увидишь? Нету! Со всех давно посымали. А у нас висят, на святые праздники честь честью, как в старину, звону радуемся. Кому спасибо сказать? Аннушке. Она спасла... Начальника из району, что колокола сымать приехали, чуть не задушила. Аннушка-то тогда молода была, буйна да здорова... Ради корысти она это сделала? Уж точно корысть: пять лет в холодных местах, вернулась — в гроб краше кладут. И нынче погляди — в лохмотьях ходит, а ведь через ее руки церковные деньги идут, поди, денежки немалые. Прилипла к ней хоть одна божья копеечка? Нет, сокол, чиста! Не суди!

Я не нашелся что ответить.

Конечно же, Анна верит, конечно, без корысти. Религия — руководство, как жить. Но если веру сестры Аннушки считать за руководство жизнью, то страшна же тогда будет жизнь на земле.

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...»

Не становлюсь ли я начетчиком?

Ночь. За незавешенными окнами в зеленовато-голубом свете луны, словно на дне моря, покоится село Красноглинка.

Ночь. Надо мной теперь не нависает кошмарная Вселенная. Что мне звезды, что мне далекие галактики — близкое тревожит, то, которое меня встретит утром.

А утром — лопата и крутая глина, вечером — отец Владимир и сестра Аннушка. Бросил дочь и жену, не мог жить той жизнью...

Могу ли этой?

Так что же мне в конце-то концов нужно?

Не заблудился ли?..

Тетка Дуся, сестра Аннушка, отец Владимир — целый набор родственников. Неужели они ближе мне, чем Инга? Инга не понимала, не разделяла, а эти?..

Баш на баш?.. Нет! Инга не равноценна сестре Аннушке, этому престарелому унтеру Пришибееву в юбке. А отцу Владимиру?.. Истошная вера этого несчастенького ничуть не лучше свирепой веры сестры Аннушки. Верь во что бы то ни стало, будь балбесом, будь тупицей, тупость даже почетна, ей первые привилегии: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное». Неразумный таракан в этом царстве должен занять более почетное место, чем я. И на здоровье, на кой черт тараканье царство! Не хочу отказаться от человеческого. Я не хочу, и природа не позволит — вспять, к таракану?.. Ну уж нет.

Так что такое вера?

И какой веры я жажду!

Какой мне бог нужен?

Темный лес.

«Папа, расскажи сказку». Острые коленки выше ушей, ясные глаза заглядывают в душу. Я преступник!

Остановись, иначе совсем заблудишься! Брось завтра лопату, вспомни, что окончил институт, вспомни, что есть семья, что Инга намного выше и человечнее твоих новых родственников. Вернись на прежнюю тропу!

Вернись! Чтоб жить двуличной жизнью, чтоб тайком оглядываться на бога и клеймить тех, кто глядит не таясь! Вернись, чтоб лгать себе и другим, чтоб презирать самого себя, чтоб в конце концов испытать презрение дочери.

Вернись на прежнюю тропу! Пробовал уже вернуться, уже жил несколько дней в разладе с богом...

Пробовал... Тропа-то повела к перегону Лосиноостровская — Мытищи, электричку встречать... Темный лес со всех сторон!

Бог... Все-таки нуждаюсь в этой гипотезе. Нужен поводырь в лесу!

И мне, и всему человечеству.

Человечество мечется, ищет надежную, не зыбкую тропу. Планета стала зыбкой, наука постаралась — подарила людям игрушки, забыла наказать: «Вымойте руки, прежде чем братья за них». Нужно всеобщее наставление. Наставление бережности и уважения друг к другу.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это ли не идеал взаимного уважения. Пусть он недостижим, но вовсе не значит, что к нему не нужно стремиться. Невозможно построить машину с коэффициентом полезного действия в сто процентов. Но плох тот конструктор, который не стремится к этому недостижимому.

Ради чего-то же я решил бросить семью? Ради чего-то великого.

Сестра Аннушка, Инга — какое сравнение! Инга не пытается создавать бога, сестра Аннушка создает по образу и подобию своему. Неприглядному образу, недостойному подобию. Как ни возлюби, но приходится бороться с недостойными людьми. Как ни «верую, господи!», но борись против богов, созданных недостойными. И против бога должен выступить не просто человек, а тоже бог, только бог!

Неужели я ждал, что встречу в Красноглинке высоколобых апостолов? К вере пришли простые, суетные люди, с суетными богами, рожденными куцым воображением. Тоже ведь создают гипотезы!

А моя гипотеза? Нет, она слишком смутна для меня самого, чтоб стать непреложным

руководством. Предстоит вглядываться в нее, совершенствовать ее, искать, искать, искать! Потому-то я и приехал в Красноглинку, чтобы искать без помех, не скрываясь, не страшась последствий.

Возможно, искать всю жизнь. Возможно, не придется увидеть плоды.

«Возлюби ближнего твоего» — необходимость этого понятна даже детям, поверь и руководствуйся! Возможно, заставлю в это поверить даже сестру Аннушку — не спором, не трезвой логикой? Чем? Еще не знаю, буду искать.

Открывать мне придется не истины — они давно открыты! Открывать пути к сердцу человеческому. Чужая душа — потемки. Пробивать тропы в сумрачной чаще людских душ.

Прости, Инга.

Пусть простит меня дочь.

Не напрасно оставил вас. Так надо.

А сейчас я просто на минуту пал духом...

Ночь. Темная душная изба, тихая земля за окном, земля, залитая луной.

Я вдруг почувствовал радость — утерянное вновь нашлось. А чуть было все не рухнуло, чуть-чуть — и я бы капитулировал, сложил чемодан.

В эту минуту я понял, что подразумевали в житиях святых авторы, когда говорили: «бес смутил», «снизошло озарение». До сих пор для меня это были смешные, наивные, напыщенные выражения. Но сейчас я пережил и «бесовское смущение», и «озарение». Я испытываю горделивую радость от победы над самим собой. Появилось острое, подмывающее желание — излить перед кем-то свою победную радость! Немедленно! Пока она свежа, завтра потускнеет.

Но перед кем? Если б даже тетка Дуся и не спала, то все равно надежды мало, что поймет. Ни тетка Дуся, ни кто другой. Все, что произошло сейчас, слишком мое, слишком личное! Мне оно ясно, для других сложно и запутанно.

А радость распирает. Как жаль, что нет такого, кто понял бы ее, принял бы, как свою. Счастье поделиться радостью. Разделенная с другим радость не убывает, наоборот, становится шире. И как жаль, что нет никого рядом.

Нет?.. Я чуть не подпрыгнул от простого открытия. Для неверующего нет, неверующий обездолен! Для верующего есть! К его услугам всегда терпеливый, чуткий, преданный и всепонимающий собеседник. Всегда рядом, только распахни душу.

И я поднялся с постели.

Я не посмел зажечь лампаду перед иконой — разбудил бы тетку Дусю. Да свет и мешал бы мне, вид закопченных досок оскорблял бы мое представление о боге. В трусах и майке, поеживаясь после теплого одеяла, я опустил голыми коленями на холодный, изношенный узловатый пол.

— Верю, господи, — зашептал я, — верю, что ты существуешь. Верю, что ты не напрасно расплодил по планетам людей, не напрасно наделил их разумом. Верю, что есть какой-то великий смысл, какая-то конечная цель. Не рассчитываю понять ее, познать ее, но верю, есть что-то, ради чего мы рождаемся и умираем, поколения сменяют поколения. Верю, господи, в собственную полезность, теперь верю даже в то, в чем всегда сомневался, — в силу свою верю, в правоту! Мне больно за Ингу, больно за дочь. И это единственная боль, которая еще мучает меня. Попытаюсь и ее снести с мужеством. Пусть простят они меня, пусть простят, и мне тогда станет совсем легко...

Моя молитва кончилась неожиданно для меня. Первая в жизни молитва, первое слово к богу, верное доказательство, что он, мой бог, существует.

Я еще в легкой растерянности постоял на коленях, чувствуя жесткость неровного пола, и поднялся. Я словно сейчас вернул висевший на мне ежечасно мучивший, мешавший жить долг — чиста совесть, могу не стыдясь глядеть людям в глаза. Даже Инге. Даже дочери.

Вздрагивая от пережитого волнения, я снова лег на свой жесткий соломенный матрас, укрылся поуютней и, помня, что за окном лежит тихая земля, залитая луной, уснул.

Моя первая молитва в жизни... Я тогда не мог знать, что она будет и последней.

* * *

— Перекур!

Я прислонил к глинистой стене ямы лопату и полез наверх.

Рано ли, поздно этот разговор должен был случаться. Я его ждал и знал, что скорей всего он завяжется в один из перекуров.

Начал Митька Гусак.

— Ты, говорят, даже статьи писал по науке? — спросил он. — Правда ли?

— Правда.

И тут Пугачев, наш бригадир, резко повернулся ко мне своей широкой, чашеобразной, чингисхановской физиономией:

— Хвалил, поди, в статьях науку?

— Да... Хвалил.

— Миловал да гладил и вдруг не поладил, что так?

— Надежд наука не оправдала.

— Чьих? Твоих?

— И твоих, наверное, тоже. На важные для нас с тобой вопросы отказывается отвечать.

— Наука! Отказывается?! — выкрикнул изумленно Гриша Постнов. — Да это же чушь собачья! Да он же ерунду городит!

У Гриши к науке любовь без взаимности. Он ее любит, она его нет — на вступительных экзаменах срезался, не попал в институт.

— Да разве есть такое, чего наука знать не может? Чушь собачья.

— Есть.

— Вся наука?

— Вся.

— Что за вопросы такие заковыристые, что наука осечку дает? — спросил Пугачев.

— Да нет, не заковыристые, а как раз самые простые.

— К примеру?

— Например, как сделать, чтоб люди не обижали друг друга?

— Так кто же тогда ответит, как не ученые люди?

— А на них и отвечать не надо, в них надо просто поверить.

— Во что поверить?

— В то, что лгать и подличать нехорошо, что следует жить в любви, в мире. Есть ли нужда это доказывать? Ты это знаешь... Он знает. Все в общем-то знают, но не все придерживаются — лгут, подличают, войной друг на друга идут.

— А ведь верно, — подал голос Руль, сидевший между своими дюжими Рулевичами. — Знаем, хорошо все знаем, а толку от этого знания чуть. Парень-то прав.

— Идиотизм! Чушь собачья.

— Значит, плохо знаем, — заявил Пугачев. — Что железно знаешь — на том не сорвешься.

Митька Гусак хохотнул:

— Не скажи, Пугач. Я вот хорошо знал, что за шахер-махер в торговом деле — того, ласково не хвалят, а не утерпел. Мотоцикл шибко хотелось купить, а зарплатишка — штаны не огорюешь.

— Вот видишь, — сказал я, — знание и вера — не одно и то же. Нужно, выходит, крепко верить в какие-то нехитрые законы — не укради, не убий, не прелюбодействуй...

— В законы верить?.. — переспросил Пугачев. — В законы — готов. Но, сказывают, ты от этих законов дальше пошел, в бога верить стал.

— Это после-то науки! В бога! — выкрикнул Гриша Постнов.

— Сказал «господи», скажи и «помилуй», — ответил я. — Признаешь, что нужно верить в нравственные законы, признай тогда и веру в бога.

— Почему же обязательно в бога? Уж-таки без него никак?

— Никак.

— Растолкуй.

— Попробую. Если я установлю эти законы, я прикажу тебе — верь! Ты поверишь?

— А почему бы и не верить, коль твои законы умные и нужные.

— Ну, а вдруг тебе при этом очень захочется мотоцикл иметь, а мои-то законы тебе мешают?.. Наверное, задумаешься тогда, почему бы их и не обойти на кривой. Не такой уж я для тебя авторитет, чтоб ты по моему слову без оглядки следовал, даже от соблазнов отказывался.

— Потому, наверное, и сейчас тебе я не очень-то верю, хоть и складно рассыпаешься.

— Вот, вот. И любой другой человек, пусть он самым высоким начальником будет, для тебя все-таки человек, не более того — можно верить ему, но можно и не верить. И когда он скажет: не лги, не подличай, — то ты еще подумаешь, верить ли ему, особенно в тот момент, когда тебе эта вера мотоцикл добыть мешает. Или не так?

— Пусть так.

— То, что исходит от таких, как ты, людей, для тебя не столь уж обязательно, потому как ты знаешь, что человек есть человек: он и ошибиться способен, и обмануть, — зажмурив глаза, доверять ему не всегда удобно.

— Верно, — снова степенно согласился Руль. — Всегда при себе мыслишку носишь — на простаках, мол, воду возят.

— А вот если признаешь, — продолжал я, — что эти простые законы установлены не человеком, а кем-то, кто намного выше людей. Если ты поверишь, что такая фигура есть, что он верх разумности и справедливости, если только ты поверишь в это, то его-то законы уж постарайся выполнить. Они не от меня, не от начальства, они от того, кто никогда не ошибается, кому можно и нужно доверять слепо, без оглядок, без оговорок! От того, кого ты сам принял и признал. И от такой веры плохого не будет, только польза всем. Вот и получается, что, веря в законы, приходится верить и в бога.

— Как же я поверю в него, когда его-то в наличии не имеется? Пустое место, выходит, признавай.

— А откуда ты знаешь, что его нет?

— Доказано! Доказано! — заволновался Гриша. — Раньше на небо указывали — мол, там он. Нехитрый расчет — до неба не допрыгнешь, попробуй-ка проверь. Но теперь-то проверили, теперь в космос залезли, а там не только бога — блохи живой не нашли.

— Доказано ли? — спросил я. — Блохи живой, говоришь, не нашли, а это вовсе не доказывает, что нет таких планет, которые не только блохами, но более умными, чем мы с тобой, людьми заселены. Не нашли — не доказательство.

— Я так понимаю, — снова вмешался старик Руль, — коль польза тебе прямая от веры, то какие же еще нужны доказательства? Польза, друг, — самое что ни на есть существенное доказательство, никто от него не отвернется, каждый признает.

Я с благодарностью и уважением посмотрел на старика — он за несколько минут ухватил то, до чего я дозревал в течение многих месяцев: «Нуждаемся в этой гипотезе».

— И все-таки польза от пустого места, как хлеб из воздуха, — не растет, Михай Карпыч, — возразил Пугачев.

— Ты сказки об Иване-царевиче слышал в детстве? — Руль строго нацелился своим твердым носом в бригадира. — Ивана-то царевича нет и не было, место пустое, а, поди, слушал, радовался, на ус мотал, на пользу шло. Там, может, польза и не корыстна, здесь покрупней, потому что и бог мыслится куда крупнее Иванушки-дурачка.

— Внушением лечат людей, — подсказал я. — Нет у тебя здоровья, а тебе внушают — есть, ты излечиваешься. Польза, а ведь при недомыслии ее можно и отвергнуть — из пустого-де места польза-то.

— То-то и оно, — подтвердил Руль.

— А помнишь, отец, деда Костыля? — спросил один из Рулевичей.

— Ну помню.

— Сам говорил, что сволочной старикашка, до самой смерти норовил на чужом горбу проехать. А ведь как он в бога-то верил.

— Верно! — восторжествовал Пугачев. — От веры в бога Костыль в добрые законы верить не стал.

— Да полноте! Костыль ни богу ни черту не верил. Себе одному, да и то раз в неделю, по пятницам. Мало ли кто притворяется верующим. Вот и Митька Гусак, когда торговал, честным и чистеньким, должно, притворялся.

— А как же иначе, — подтвердил Митька. — О честности очень даже часто вежливый разговор с покупателем вел. Даже чуть не плакал, так иной раз себе нравился.

— Но история-то что говорит? — запальчиво взорвался Гриша Постнов. — По истории-то видно, какую пользу приносила религия!

— Я в истории не шибко плаваю, — отмахнулся Руль.

— Не плавай, а сообрази, — сердито ухватился Пугачев. — Многие тыщи лет люди в бога верили. А раз вера к доброму ведет, то почему она за эти тыщи лет зло так и не расхлебала?

— Откуда тебе известно, что творилось бы сейчас в мире, если бы люди не знали религии? — спросил я. — Может, давным-давно друг другу глотки перегрызли бы.

— Бог спас, выходит?

— Возможно, и спас... от многого.

— Эх! — Пугачев с силой шлепнул по колену. — Кончим лучше эту панихиду! Конца ей не видно, а работа не ждет. — Повернулся ко мне: — Из Москвы убежал, ради веры жизнь на кон поставил, не укладываешься ты у меня в башке, странный, вроде лошади с рогами.

— Нет, не странный! — вскричал Гриша. — Опасный он! Ему такое привалило — институт кончил, ученым человеком стал, а для чего? Чтоб ловко тень на плетень наводить. Опасный! Заразу несет, мы эту заразу хлебаем!

— Уж и заразу, — усмехнулся Руль. — Брезговала свинья гусем, потому что рыло не пятачком.

* * *

В первые дни в Красноглинке я забыл свою сказку. Сейчас она вновь явилась ко мне.

Говорят, что ныне море Галилейское лежит среди утомительно-красных скал, и солнце немилосердно раскаляет их; воздух там сух и горяч, и кремнистая земля давно уже не плодоносит. Но когда-то ручьи там сбегали по мягкому дернистому ложу, северные сосны росли в обнимку с пышными олеандрами, могучие смоквы роняли плоды, прохладная тень покрывала цветущую землю, и на бирюзовую гладь озера стаями опускались розовые фламинго.

И было море Галилейское богато рыбой. И жили по его берегам рыбаки в плоских хижинах из камня, где дверь одновременно служила и окном.

Сказка приходит ко мне вечерами. Я растягиваюсь на своем матрасе, дожидаясь, когда из-за занавески донесется шепот тетки Дуси. Закрываю глаза и пытаюсь представить рыбацкое поселение Капернаум. Для того времени это было такое же глухое место, как Красноглинка.

Ребристые, из сырого камня стены, густой колючий кустарник по скалам, крутые тропинки, галечная отмель и зеленые валуны в воде. Вдоль берега растянуты сети. Поплескивает волна, тянет ветерком с озера, пахнет рыбой, солнце прячется за лесистый холм.

Прямо на теплом галечнике возле воды расположились рыбаки, одни сидят, поджав босые ноги, другие лежат. Все окружили узкоплечего человека.

Он однажды тихо появился здесь на берегу. Симон, сын Ионы, и Андрей, брат его, выбирали из сети рыбу. Он глядел на них и молчал, и тогда Симон, старший из братьев,

спросил:

— Кто ты, прохожий?

И он ответил:

— Идите за мной, ловцы рыбы, ловцами человеков сделаю вас.

Был он худ, пропылен, но обожженное солнцем лицо покойно и в глазах озерная синь. Симону, старшему из сыновей Ионы, понравился пришелец, и он пригласил его к себе в дом.

Он называл себя Сыном Божьим, звук его голоса вливал мир и покой в душу. С его появлением больная теща Симона встала с постели.

Темнеет озеро, тянет ветерком, пахнет рыбой, он говорит:

— Не больше ли душа значит, чем пища, не изящнее ли тело, нежели одежда? Взгляните на птиц небесных: они не сеют и не жнут, ни амбара, ни житницы не имеют, и, однако же, отец наш небесный питает их. Взгляните на полевые лилии: не трудятся, не прядут, а между тем Соломон во всей славе не был так великолепен. Не заботьтесь о завтра: завтрашний день позаботится сам о себе. Каждому дню достаточно своей заботы.

Льется голос, все пьют слова, пьют покой, и каждому начинает казаться, что жизнь проста, сложной она выглядит потому, что замусорена суетой. Люди сами себе выдумывают страдания.

«Но заботьтесь о завтра». Как часто мы живем только для будущего — сегодня суетимся, чтоб прожить завтра, завтра вновь суета, чтоб прожить послезавтра, и так без конца. Настоящее исчезает для нас, не видим его, не можем им насладиться, порадоваться, полюбить, собственно, не живем, а суетливо мчимся навстречу смерти. А оказывается: «Каждому дню достаточно своей заботы». Очнитесь, люди!

Я лежу с закрытыми глазами, тетка Дуся в двух шагах от меня, здесь — в двадцатом веке, здесь — в глубине России, красноглинская старая баба жалуется ему о своем старушечьем. Ему, учителю с моря Галилейского!

Я лежу с закрытыми глазами, слушаю шуршащий Дусин голос, вижу далекое — его берег, его учеников.

Симон, пожалуй, первый из его учеников. Не юноша, а муж, зрелый характер, трезвая голова, не сразу верит в притчи о «птицах небесных», туго соглашается, но, согласившись раз, стоит уже крепко. Учитель ценит эту крепость, называет его «Кефа», что по-арамейски означает «камень». Впоследствии его переименовывают на латинский лад «Петром».

Открыв рты, пожирая учителя глазами, слушают сыновья самого богатого рыбака в поселке Зеведеи — Иаков и Иоанн. Они верят всему, они возмущаются любым сомнением, дети юга — разумеется, экспансивно, шумно, с горячим негодованием. Учитель зовет их с ласковой усмешкой: «Сыновья громовы». Младший Иоанн — совсем еще мальчишка, глубокий румянец под смуглой кожей, ровные, сросшиеся у переносицы брови, влажно поблескивающие глаза, темный пушок над пухлыми губами.

Запрокинув голову, собачьи преданная, с выражением скорби и счастья, боли и наслаждения, сидит у ног учителя Мария, девка из Магдалы, городишка, что стоит ниже по берегу. Мария Магдалина была недавно «одержима бесами», часто падала на улицах и билась с пеной на губах. От голоса учителя становится покойно больным. Благодарная Мария сидит у его ног, преданно смотрит снизу вверх.

Иногда приходит послушать учителя некто Матфей. Он, пожалуй, самый старый знакомый учителя, встречался с ним еще до того, как тот появился в этом поселке на берегу моря Галилейского. Матфей — мытарь, ездит из селения в селение и собирает подати, служба неприятная, но она научила его ловко обращаться с каламом — писчей тростинкой. Сейчас Матфей сидит в стороне, молчит, слушает. Он заговорит уже после смерти учителя, подробнее других изложит на пергаменте историю пророка из Назарета.

И еще один всегда присутствует на сборищах — Иуда. Он дальний, не из Галилеи, откуда-то с юга, из города Кариота, сын некоего Симона. Иуда деятелен и услужлив. Если какой-то богатый галилеянин пожелает дать денег учителю, чтоб тот роздал их нищим, то едет получать эти деньги Иуда. Он же и передает их тем, кто нуждается. Иуда — кошель

учителя, что-то вроде казначея при молодой общине.

Прежде чем уснуть, я мысленно строю незримый мост через века и земли, из сегодняшней Красноглинки в древнюю Галилею.

Ноет натруженное на крутой глине тело, растекается по суставам покой. Я не думаю о своем завтра, оно меня нисколько не тревожит. «Завтрашний день позаботится сам о себе».

С лопатой в руках, в поте лица я прошел через кусок своей жизни, через то, что недавно называл своим сегодня, съел свою картошку в мундире, лег на жесткий матрас. Ничего не случилось со мной особенного, не выпало никаких удач, а я счастлив. Я сейчас в удивительном равновесии — порвал с прошлым, не трепещу перед будущим — чувствую полноту наступившей минуты, живу и наслаждаюсь.

Тетка Дуся за занавеской потушила лампадку. И закричали, закричали петухи по спящему селу. Конца этой переключки я уже не слышу...

А утром я срываюсь с постели, выспавшийся, отдохнувший, словно умытый изнутри. Я невесом и упруг, движения мои порывисты. Я пью пахучее парное молоко, ем неизменную картошку. Ем торопливо, мне не терпится вырваться из стен. Новый день ждет меня, новый день со своими заботами и открытиями.

И сказка продолжает жить во мне, я сейчас вынесу ее на волю. В рваных, грязных штанах, в тяжелых резиновых сапогах я переступаю в мир и останавливаюсь пораженный.

Чем?..

Тем, что на притоптанной травке в проулке лежит nepотревоженная роса, что среди тысяч и тысяч ртутно тяжелых капель одна-единственная вдруг расцвела перед моими глазами красными, зелеными зыбкими иглами.

Тем, что стоит исцеляющая тишина не только над не проснувшейся еще Красноглинкой, но и на много сотен километров во все стороны.

Тем, что знакомый, исхоженный мною травянистый проулок оказывается не так уж и знаком, не так на нем сейчас лежат тени, не так играет солнце, — кроткая тайна во всем.

И пылает неистово росая капля — пучок радуги! — капля одна из сотен тысяч, из миллионов тусклых капель особо выдающаяся — гениальность, дождавшаяся великого момента. Я шагаю с крыльца — и сияющая капля пугливо гаснет. Роса обильно обмывает мои сапоги.

Прежде чем свернуть из проулка, я оглядываюсь — на росяной матовости пролегли кричаще-зеленые следы.

И вот первый петух заблаговестил осипшим спросонья голосом. И вот звякнуло за соседним домом порожнее ведро, и на соседней улочке за настороженно дремлющими черемухами начал кланяться колодезный журавль, спесиво кланяться и стонуще скрипеть...

Не я один переступил через порог, не я один вижу младенчество дня, не я один нарушаю его оцепенение. И растет во мне светлое чувство благодарности к тем, кто вместе со мною открывает сейчас наше сегодня. «Каждому дню достаточно своей заботы...» Но день только-только родился, заботы еще не начались. Раннее утро — минуты полной свободы, чувствуй их, умей ими насладиться!

Здравствуйте, те, кто проснулся! Здравствуйте, братья и сестры! Как я счастлив, что живу с вами в одно время, под одним небом!

На окраине села я увидел спешащую в сторону скотных дворов доярку, плотную девуку, почти совсем мне незнакомую, так как жили мы на разных концах. Однако...

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Поспешно и чуть смущенно, так как не слишком знакомы, но доброжелательно. В такое утро недоброжелательным быть просто нельзя.

Штабеля рыжего кирпича, отвалы выброшенной глины, щепы, густо покрывающая истоптанную землю, щепы, почему-то вкусно пахнущая арбузом...

Вот уже третий день подряд я прихожу первым, сажусь на бревна, и жду, и слушаю все возрастающий шум просыпающегося села. Замычали выгнанные из-под крыши коровы на скотном дворе, раздались звонкие молодые голоса скотниц:

— Куд-ды тебя понесло, шалава!..

— Эй, Глашка! Ворота закинь, в поле вырвутся, каналы!

Глухо застучал на берегу реки в тесовой будке движок, погнал по трубам воду. Ему отозвался в самом селе железным ревом запущенный трактор. Парнишка проскакал на неоседланной лошади, глухим переплясом простучали по пыльной дороге копыта.

А сказка живет во мне. Пока никого нет, я примеряю ее на ту жизнь, которая вот-вот обступит меня вплотную.

Скоро придет Руль со своими Рулевичами.

Старик Руль быстрее других хватается то, что я говорю. «Коль польза прямая налицо, то какие еще нужны доказательства?..» Признает пользу, не нуждается в побочных доказательствах. До этого я сам с трудом и оглядками долго добирался сквозь лес логических рассуждений. Он же принял это сразу, не задумываясь. За свою долгую жизнь он узнал что-то такое, что мне было недоступно. Руль один из всех подставляет мне плечо. Пока что на него одного я могу опереться...

Не в силах устоять перед соблазном — мысленно сравниваю старика Руля с верным Петром, рассудительным рыбаком с моря Галилейского... Конечно, всякое сравнение зыбко, конечно, нет полного совпадения, я просто раздвигаю рамки своей сказки, а в сказках допустим вымысел.

Пугачев... С кем его сравнить? Он не верит мне, недоумевает. «Лошадь с рогами!» Может, с неистовым Савлом, который стал столь же неистово верным Павлом?..

Савл?.. Нет! Пугачев и умней, и благороднее. Он не отталкивает меня с пеной у рта — прочь, нечисть! — он тянется ко мне, старается понять. Говорят, у Христа был еще ученик — Фома Неверующий...

Савлом скорее может стать Гриша Постнов. Сейчас он кипит и отвергает — «заразу несешь!» — а завтра, глядя на других, поверит и непременно энергично, готов будет бить морду тем, кто уверовать не успел.

Митька Гусак... Этого легко уговорить, но он так же легко и отойдет, особенно если помаячит мотоцикл в качестве тридцати сребреников. Но при этом он искренне простодушен. Не таким ли был и Иуда Искариот?

Э-э, сказка сказкой, но не слишком ли я?.. Митьку Гусака в Иуды, себя, разумеется, в Христы — от скромности не умрешь, парень.

А собственно, что тут такого? Я стремлюсь к тому, к чему с незапамятных времен стремится истстрадавшееся человечество, — к взаимопониманию друг друга, к взаимоуважению, к взаимолюбви. «Люби ближнего твоего...»

Стремлюсь к этому, мечтаю об этом. И что за беда, если в мечтах я залечу к тем высотам, какие достигало человечество? Постыдно корчить из себя Христа, но не постыдно к нему стремиться!

— Здоров...

Нет, не Руль с Рулевичами, раньше их сегодня явился Санька Титов. Кажущийся сутуловатым от излишней просторности в покатых плечах, не столько хмурый, сколько сосредоточенно насупленный, он, пришлепывая широкими резиновыми голенищами по толстым икрам, прошел к сторожке, погромел там, вышел с топором, лопатой, молотком. Скупым и сильным движением он глубоко всадил топор в бревно, сел, положил на обух лезвие штыка и... все звуки пробуждающейся жизни утонули в жестяном скрежещущем грохоте. С сумрачной деловитостью Санька принялся отбивать лопату.

Я как-то совсем забыл его, не пустил в свою сказку. Уж больно не сказочное существо — Санька Титов.

Окажись я и в самом деле или воскресшим из мертвых Иисусом Христом, или лошадью с рогами, он нисколько не удивится, не изменится в лице, останется по-прежнему

насуپленно сосредоточенным. Его как-то нельзя представить верящим — в бога ли, в науку ли, в коммунизм ли. Все это для него где-то в стороне, а он умеет думать только о том, что видит. Вчера увидел, что тупа лопата, подумал — надо отбить. Сегодня вспомнил — и вот исполняет.

К селу Красноглинке летят громкие жестяные звуки...

— Перекур!

Гриша Постнов, если я слишком близко приближался к нему, покрывался гусиной кожей... от неприязни. Пугачев же бросает топор и садится напротив. Лицо его — медная чаша — темно, глаза сужены. Похоже, он уже не может без меня — лошадь с рогами! Пугачева мучает тайна: не от выгоды сменил я Москву на Красноглинку и ученые книги на святое писание — тоже не от невежества. Может, мир начал помаленьку трогаться с ума, а может, есть какая-то правда в том, что люди держатся за бога?..

Раз даже Пугачев послал после работы за поллитровкой Митьку Гусака:

— Посидим поплотней. Тут ведь без поллитры не разберешься.

Но из этого ничего не получилось, так как сразу же нагрянул Мирошка Мокрый, первый пьяница в Красноглинке, — фетровая шляпа, утратившая и цвет и форму, но не утратившая муаровой ленты, красная рожа в зловещей медной щетине, мокрый рот до ушей...

— Бра-ат-цы! Огнем вечным горю! Негасимым! Всю жизнь заливаю, залить не могу! Не человек я, братцы, а почетная могила неизвестному солдату!

Мирошка не давал никому сказать ни слова, кричал о своей особе и водке, которая так ему любя.

— Перекур!

И Пугачев садится напротив меня — лицо темно, глаза сужены. Он уже весь изранен и ждет новых ран. Беспокойный человек, брат мне по крови.

* * *

Наконец-то я почувствовал в себе силы решиться на то, что больше всего меня пугало, — написать Инге, сообщить ей правду о себе. Тянуть дальше нельзя, Инга рано или поздно узнает — если уже не узнала, — что уволился с работы. Как ни страшна правда, а полное неведение всегда страшней.

Я но хотел писать письмо на глазах у тетки Дуси, не хотел, чтоб в эти минуты кто-то видел мое лицо. Я спрятался за занавеску, забрался с ногами на кровать, пристроил на коленях Библию, положил на нее листок бумаги, вывел:

«Инга родная!»

И задумался... Да, родная, но сейчас собираюсь разорвать последнюю ниточку родственной связи. Родная в начале письма, чужая в конце.

«Я должен просить у тебя прощения, — начал я, — за то, что когда-то встретился с тобой, за то, что стал твоим мужем, за все семь лет совместной жизни, за дочь, наконец. И прекрасно понимаю безнадежность своих оправданий. Сколько бы я ни оправдывался, все равно в твоих глазах останусь не просто виновным, а преступно виновным.

Что же случилось? Я и сам во всем толком не разберусь. Может показаться смешным, но причиной моего странного поведения стали высокие, можно назвать, потусторонние явления. Как и всякий нормальный человек, я свято верил в торжество разума, а так как наука — самое яркое проявление разума, то верил и в ее торжество, в ее спасительную миссию. Я был настолько слеп, что не видел — с расцветом наук войны не исчезают, а становятся страшнее, и прохвосты на свете не

редеют.

Я не могу славить науку, как до сих пор славил, мне нечему стало верить, не к чему стремиться. Мои мысли, знаю, покажутся неубедительными, затрепанными, мое поведение — диким. Но что делать, когда мне начало казаться, что мое появление на свет — бессмыслица; бессмысленно, что встретился с тобой, живу с тобой, воспитываю дочь. Можно ли так жить? Не лучше ли оборвать бессмыслицу?

Осуди меня, что я от отчаяния обратился к тому, к чему люди обращались испокон веков — к богу! Признать бога — значит признать его руководство, признать существование некой высшей цели. Словом, я стал верующим, на свой манер, конечно. И вот тут-то начала шириться между нами незримая пропасть.

Ты, Инга, довольна жизнью, какой живешь, я — нет! Могу ли я требовать — откажись во имя меня от тех, кто тебе близок по взглядам и по духу? Могу ли я обречь тебя на осуждение, возможно, на остракизм и осмеяние? Осуждение должно пасть и на нашу дочь. В моей жизни произошел духовный скачок, почему это должны разделять со мной мои близкие?

Я не могу стать прежним, не хочу ломать вашу жизнь, значит, мне необходимо исчезнуть. Признаю — выход из положения грубый, болезненный, но болезненней вдесятеро нам жить вместе. И выход единственный, выбирать не приходится — я исчез. Так лучше вам, так лучше мне.

Едва я встану на ноги, постараюсь тебе помогать изо всех сил. Правда, вряд ли от меня теперь будет большая помощь. На четвертом десятке лет я начинаю жить сначала. Сейчас я зарабатываю себе хлеб ломом и лопатой.

Не могу быть прежним.

Пойми, если можешь. Прости, если можешь. Если можешь, забудь. Так лучше.

Юрий»

Я поставил последнюю точку, обрубил нить.

Ради веры в старые времена шли на костры. Костер... А не легче ли это? Там жертвуешь только собой, только на час мучений. А здесь подписал свое имя, поставил точку — осиротил дочь. Какими бы важными причинами ты ни оправдывался, все равно из памяти не вычеркнешь — ты обездолил тех, кого больше всего на свете любишь. Будешь помнить всю жизнь, всю жизнь станет жечь совесть — медленный костер до гроба. Так ли уж страшен по сравнению с ним тот варварский, средневековый костер?..

Может, разорвать письмо? Может, поднять руки вверх — сдаюсь, каюсь, лечу обратно!

Рад бы! Но вся беда — ни покаянием, ни сдачей позиций не спасешь от несчастья дочь, жену, самого себя.

Нельзя запретить себе — не думай, о чем думается. Рано ли, поздно, не выдержишь нелегалщины, устанешь притворяться. И тогда опять придешь к тому же самому — надо исчезнуть. Хорошо, если билет до Новоназываевки, а то как электричка... Всю жизнь притворяться невозможно.

Я не разорвал письмо, запечатал, положил его в карман, вышел на улицу.

Красноглинское почтовое отделение вкупе с отделением трудсберкассы давно уже кончило свой рабочий день. Возле дверей висел вылинявший синий почтовый ящик. Щелкнув железной челюстью, он проглотил мое письмо.

Утром оно начнет свое путешествие до Москвы.

Инга узнает все.

Оборвалась последняя ниточка.

Стоит вечер, золотой пылью рассыпался сухой закат над крышами. Кожей лица, каждой порой тела сквозь рубаху пьешь теплый воздух. Вся Красноглинка повывлезла из-под крыш на улицы. Такое ощущение, что село накануне какого-то праздника. Девчата в цветастых платьях, парни в белых хрустящих сорочках, мужчины в отутюженных, торжественных, слишком теплых для такого вечера костюмах.

Почти на каждой улочке на свой лад, но одинаково старательно наигрывают гармошки. Девчата поют разнеженно умиленными голосами:

За дальнею околицей,
За молодыми вязами
Мы с милым расставались,
Клялись в любви своей.

И бегают с воплями ребятня. И то там, то тут вспышками, затяжным раскатцем — кочующий смех.

Идя от почты, я заблудился в этой праздничности. Во всей Красноглинке, наверное, только мне одному не до веселья. Письмо брошено, железный ящик с лязгом проглотил его...

И были три свидетеля:
Река голубоглазая,
Березонька пушистая
Да звонкий соловей.

Прямо посреди дороги, осиянный закатом, стоит Митька Гусак. Просто стоит, не двигается, должно быть, наслаждается сам собою. Он сейчас представляет удивительное зрелище, от одного взгляда на него возникает невольное — «И жизнь хороша, и жить хорошо!». В невиданно широкой кепке на маленькой голове, в тесном пиджаке какого-то невероятно кирпичного цвета, при черном галстуке, в черных брючках-обдергайчиках, и остроносых туфлях цвета беж — не человек, а олицетворение успеха, Кто поверит, что днем он кайлил землю?

А в Москве сейчас Инга укладывает спать Танюшку. У Танюшки — тугие щеки, вкрадчиво нежная кожа со всеми оттенками розового и молочного... И улыбка ее трогательно беззуба. И она, конечно, требует рассказать ей на ночь сказку: «Избушка, избушка, встань ко мне передом...»

Инга! Ах, Инга! Гордо посаженная голова, густые волосы, отливающие старой бронзой, глыба белого лба, глубокие глаза с твердыми зрачками, линии тела, презирающие застенчивость, — создана быть матерью и любовницей.

А Митька Гусак стоит посреди дороги и наслаждается сам собой.

Я жертвую счастьем дочери, счастьем Инги не ради себя. Наверное, ради Митьки Гусака тоже. А он, этот Митька, и без меня достаточно счастлив.

Ищу смысл жизни: для чего, куда, камо грядеши?..

Митьке плевать на эти вопросы. Он сыт и одет, да еще как одет — закачаешься! Вот он, нарядный, посреди дороги, сплошное великодушие — пожалуйста, любуйтесь мной, восхищайтесь, нисколечко не жалко.

Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы... «Инга, родная!.. Если можешь, забудь!» Наотмашь тебя, Инга, без жалости, вместе с дочерью. Ради Митьки Гусака и ему подобных...

И стройная березонька
Листву наденет новую.
И запоеет соловушка
Над синею рекой.

Умиленно разнеженные девичьи голоса.

Надо перехватить письмо, оно не должно уйти из железного ящика в Москву. Люблю тебя, Инга, и творю тебе зло! «Люби ближнего своего...» Ближнего, самого ближнего — без

жалости!

Зачем?!

Поют и смеются, играют гармошки — бархатный вечер. Почему я должен быть врагом себе и своим близким? Хочу жить, как все, радоваться теплу, дышать полной грудью и не мучиться: для чего, куда, камо грядеши?

Но в том-то и дело, что не мучиться я уже не могу. Завидую счастливому бездумию Митьки Гусака и презираю его.

Инга и Гусак... Нет, я не имею права ставить их рядом. И со всеми другими тоже. Я люблю Ингу, а потому все станут мне казаться плохи, ничтожны — никакого сравнения!

Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы... Я люблю! Люблю!! Но если каждый вот так станет любить только самого близкого, самого-самого, а к остальным относиться враждебно?..

«Люби ближнего своего...» Почему-то эти слова обычно приписывают Христу. Ложь! Они были сказаны до него, и Христос восстал против них. Еще раз вспомни самое возвышенное место из Нагорной проповеди:

«Вы слышали, что сказано: „Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего“. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благоволите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?»

Сам Христос покинул своих родных: «нет пророка в своем отечестве». Любовь к родным была бы якорем на пути к безбрежной всечеловеческой любви. И Будда Готам, юноша из царского рода Шакиев, покинул однажды ночью жену и сына, бежал из своих дворцов на дороги.

Митька Гусак не нуждается в том, что я мученически ищу. Но Митька еще не все человечество. И не ради одного только Митьки я оставил Ингу и дочь, даже не ради только жителей Красноглинки...

Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы... Жертвуй любовью во имя любви. Жертвовать или не жертвовать — не от меня это зависит. Цветок умирает, когда приходит пора наливаться плоду, одно отрицает другое.

Я не стану перехватывать письмо, завтра оно уйдет из железного ящика в Москву. Люблю Ингу, буду любить, всегда буду чувствовать себя преступником перед ней. Всю жизнь станет жечь совесть — медленный костер до гроба.

За те счастливые минуты равновесия, которые я теперь время от времени испытываю, приходится дорого платить.

Играют гармошки, поют девчата, то там, то сям вспыхивает веселый смех. Митьке Гусаку надоело стоять посреди дороги, ленивенько побрел куда глаза глядят. В Красноглинке нежданный праздник.

И никто не знает, что я в этот счастливый вечер несу в себе бездну горя.

* * *

Утром постучали в окно, девичий голос прокричал:

— Теть Дусь! Твоему жильцу — повестка!

На клочке бумаги четким, без нажима почерком:

Гражданину Рьльникову Ю.А.

Просьба явиться к 9.00 сего дня в сельский Совет для выяснения неотложных вопросов, касающихся Вас лично.

Председатель Красноглинского с/с

Ушатков

— Ну, парень, не к добру, — объявила тетка Дуся. — Мишка Ушатков за хорошим не позовет. Уж я — то знаю, он хоть и не близкая, но родня мне.

Я уже немало слышал о председателе сельсовета Ушаткове. Не всегда он занимал сельсоветский пост, когда-то был одним из ответственных в районе работников, в свое время схлестнулся с менее ответственным Густериным, победил, высадил с высокого стула, а лет через десять скатился сам... к Густерину. «Здравствуй!..» — «Здравствуй!..» При встречах они без наигрыша приветливы, без усилий просты — старые добрые знакомые.

Ушатков — узаконенная власть Красноглинки, старший лейтенант милиции, участковый Тепляков обязан прислушиваться в первую очередь к нему. Густерин — экономика Красноглинки, тот же Тепляков не к Ушаткову, а к нему идет по нужде — выдели лошадь, уступи тесу на крышу, дай машину... Ушатков выдает справки с печатями, Густерин — деньги.

Правление колхоза и сельсовет в Красноглинке под одной крышей, кабинет Густерина и Ушаткова через стенку, но входы разные, не перепутаешь.

Чопорная неуютная старомодность — два стола, составленные буквой «Г», один под кумачом, с пыльным графином, на другом плексигласовый чернильный прибор с кремлевской башенкой. Он за столом — бочком, без чиновной осанистости, видно, что в любую минуту готов сорваться и бежать из кабинета — в жизнь, в массы.

Под морщинистой кожей лица чересчур откровенно угадывается костяк черепа, запавшие виски вызывают невольную жалость, зато скулы тверды, как лодыжки, хрящевато острый, как у тетки Дуси, синичий нос, тонкогубо сплюснутый большой рот, голубые, пристально выжидающие глаза.

Ушатков не предложил мне садиться, разглядывал голубым, уже старчески размыленным взглядом. Я вдруг не то чтобы увидел, а всей кожей ощутил себя: резиновые в засохшей глине сапоги, глазастые штаны с чужого зада, клетчатая рубаха с закатанными рукавами, щетинист.

— Вы в тюрьме не сидели?

Спросил просто, даже скучненько, без тени вражды и угрозы, словно осведомился: «Как ваше здоровье?»

— Нет, — ответил я.

Уж не пугать ли вздумал меня? Человека, который сам себя осудил, сам себя сослал в добровольную ссылку.

Я зацепил сапогом стул, пододвинул к себе и сел, перебросив ногу на ногу. Громадная казенная бахила, заляпанная красноглинской глиной, вызывающе закачалась перед Ушатковым. Но тот и внимания не обратил на мою демонстрацию, озабоченно продолжал:

— Вы о чем толковали на работе? За что агитировали?.. И откровенно, Рыльников, откровенно, без виляний.

— Может, вы мне сами доложите — о чем? Раз разговор начали с тюрьмы, так уж выкладывайте и состав преступления.

— За господ бога агитировали или нет?

— Нет, не агитировал.

— Без виляний, Рыльников, без виляний!

— Без виляний — не агитировал.

— Молчали? Все беседовали, а вы сидели паинькой?

— Объяснил, кто я, почему здесь у вас, в Красноглинке, оказался.

— И даже слово «бог» не произносили?

— Как же мог не произносить это слово, когда сообщал, что я верующий.

— Значит, признаетесь?

— В чем?

— Что верите в бога.

— А зачем, собственно?

— Без виляний, Рыльников, без виляний...

— Нет никакой нужды в особом признании, ни перед кем не скрываю: верю в бога, и вины за собой в этом не вижу.

— Увидите! Позаботимся.

— Вы, товарищ Ушатков, запомнили: в нашей стране законом разрешена свобода вероисповедания.

— Старухам темным разрешена эта свобода — несознательны, спрос с них невелик, а вы сознательный, Рыльников, образованный, — значит, злостный мракобес, вас общим аршином мерить нельзя!

— Выходит, я повинен за свое образование?.. Вот это уже мракобесие чистой воды.

— Осторожней, Рыльников, осторожней!

— Я не так, как вы, думаю, не так гляжу, но почему это должно вам мешать? Может, от этого жизнь испортится, земля станет хуже рожать, порядок нарушится, люди грызть друг друга бросятся?..

Запавшие виски, костистые скулы, голубой открытый взгляд, в голосе убежденность.

— Может!

— Как так, объясните?

— Ежели каждый будет думать во что горазд, глядеть куда заблагорассудится, то получится — кто в лес, кто по дрова. Не держава, а шарашкина фабрика. Дисциплина должна быть во всем!

— Не нарушай дисциплины, не смей думать иначе?

— Вот именно, не смей!

— Не смей думать по-новому, думай, как думали до тебя, топчись на месте, не рассчитывай на развитие... Не страшно ли вам?..

Лицо Ушаткова пыльненько посерело, взгляд потемнел, костистым кулаком он стукнул по столу:

— Вот!.. Ушатков — страшен и вреден, а ты, голубчик, — полезнейший человек!..

— А вдруг да...

— Ушатков, который к Марксу зовет!.. Полезен не он, а ты — к богу зовешь, к Христовым идейкам! Они же передовые, не обветшалые... А вправлять мозги ты умеешь, да! Послушай такие речи человек без твердых убеждений — глядишь, вместо нашей песни «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и ни герой» запоем: «Спаси и помилуй, господи!»

— Почему вы думаете, что я не пою об избавленья. Пел эту песню, пою, буду петь.

— Безбожную?

— Песня-то зовет к защите угнетенных и обездоленных, к тому же, собственно, звал и Христос.

— Эвон! До чего мы ловки! И откуда вы вдруг повылезали! Раньше-то вас и на дух не было слышно. Развелось по стране нечисти, вот что значит без крепкой руки остаться...

— Без крепкой руки?.. А не кажется ли вам, что тот, кто сумел обзавестись крепкой рукой, из той святой песни невольно словно по слову выкидывал: «Ни бог, ни царь и ни герой». С крепкой-то рукой как не стать героем. Будут и возвеличивать, и молиться на тебя будут. А глядишь, в молитвах-то и до бога вознесут...

В голубых глазах Ушаткова что-то захлопнулось, они стали пустые, непроницаемые, на желтый костистый лоб набежала суровая складочка.

— Ну, хватит! — Он встал, прямой, плоский, остроплечий, дешевый пиджачишко висит, словно на вешалке. — Поговорили, обстановочку выяснили. Когда понадобится, дадим знать. — И отвернулся...

— До свидания, — сказал я. — Думается все же, песню ту я правильнее вас пою.

На работе мне пришлось объяснить, почему я опоздал.

Гриша Постнов, как всегда, не смотрел в мою сторону, стоял над бревном, бесстрастно тюкал топором, стесывая бок. Он всем своим существом показывал, что раз и навсегда не замечает меня, в упор не видит, не слышит — пустое место.

Митька Гусак вылез из ямы — гол по пояс, костлявое тело маслянисто лоснится от

пота, волосы повязаны носовым платком, во все четыре стороны торчат рожками узелки, — представить сейчас нельзя, что этот Митька стоял вчера вечером посреди села показательно наряден, не человек, а наглядное пособие на тему: «Жить стало лучше, жить стало веселей».

Митька вылез и дружески подмигнул мне:

— На поверку-то, не бог тебя выручает, а ты его. Плоховат, выходит, у тебя товарищ. Нечего и водиться с ним.

Митька — сам «штрафничок», не столь давно еле-еле увильнул от суда — сочувствует мне.

Михей Руль, осторожненько вырубая паз — «выбирал череп», — заговорил:

— Зря ты, парень, на весь лес кукуешь. Со всяким норовом зверь живет, кому-то может твое «ку-ку» и не понравиться.

Я возразил:

— А для меня, Михей Карпыч, никакой зверь не страшен — несъедобен я.

— Храбрился ерш перед щукой.

Пугачев, молчаливо и хмуро выслушавший мои объяснения, сейчас вдруг взорвался на старика:

— Подлости учишь, Михей! Втихаря кукуй, то есть себя стесняйся, кукушкой под ворону рядись. Ежели все ряженные станут, ненастоящие, как жить-то тогда?

— А как до сих пор мы жили? — ухмыльнулся Руль. — Ты думаешь, я весь наружу? Ан нет, кой-что под семи замочками прячу — не доберешься, шалишь.

— Утаиваешь?

— А как же иначе?

— Ты против искренности? Ты против правды?

— Правдив простак, да на нем воду возят.

— Жалко мне тебя, Михей.

— Подожди жалеть, сперва поживи с мое.

Пугачев повернулся ко мне:

— Должны люди открыто в глаза друг другу смотреть? Как ты думаешь, боголюб московский?

— Если только они не ненавидят друг друга, — ответил я.

— Эх-хе-хе! — вздохнул Руль. — Не язвил вас, парнишки, жареный петух в зад.

Рулевичи деловито махали топорами. Санька Титов ворочался в яме, выгонял «кубики». Гриша Постнов демонстрировал свое невнимание ко мне. Пугачев помялся возле меня, посверкал глазами с медного лица и вдруг с тоской воскликнул:

— Один ли ты, боголюб, непонятен! Все люди — лошади с рогами.

И резко отошел.

Я взялся за лопату. Я несъедобен, неуязвим. Что сделают со мной Ушатковы? Арестовать за то, что верую, нельзя — закон не разрешает. Снять с работы, отнять эту лопату?.. Смешно. Я свободен. Полностью.

Стало даже как-то обидно. За свои взгляды я готов на крест, на костер. Отошло время крестных казней...

* * *

— Ты уж, сокол, больно скор на расправу. Чуть что не понравилось — сразу печать Каинову ставишь: мол, ни дна тебе ни покрывки. Эвон как сестру Аннушку припечатал — занедужила, из дому теперь не выходит. И с Михайло Ушатковым ты теперь вот разделался: ирод, да и только, анафема!

— Но ты же сама говорила, Дуся, что от этого человека добра ждать нечего.

Мы сумерничаем с теткой Дусей у подсиненного окна, обсуждаем мою беседу с Ушатковым.

— И теперь говорю — добро он часто изнаночкой поворачивает.

— «По плодам их узнаете их...» А плоды-то Ушаткова горькие.

— Ой, всегда ли? Однажды верхом он по берегу ехал. Весна была, самый ледоход. Глянь, а по реке-то старый дубас тащит. В нем девчонка, совсем мала, лет трех, что ли... На дубасе и летом, при малой воде, не каждый проплыть сможет, а уж в ледоход-то верная гибель. Толкни любая льдина — и перевернется... У каждого, поди, зашлось бы сердце — дитя же! — но, ой, не каждый полезет в полую воду, когда со льдом хороводит, — кто себе враг? Михайло-то сперва на коне хотел доплыть, да не тут-то было, разве коня загонишь в такую реку... Тогда скинул он лишнее, да и пошел среди льдин рукавами махать, притянул дубас к берегу, девку в охапку, а девка-то кошку держит, расставаться не хочет, так и принес ее в деревню с кошкой... Потом от застуды весь чирьями зарос. Да-а, доброе... Да-а... А вот в тот же год, кажись, он, Михайло, как-то ребяташек в траве застал, те с голодухи щавелек собирали. Ведь не из баловства, с голодухи, и чего доброго — траву, так нет, требовал бумагу составить о потраве покосов. Подумай-ка, на детишек, как на скотину. Траву, выходит, дороже детишек. Вот хоть хай его, хоть хвали.

— Дуся, страшные слова! И после них еще оправдывать его!

— То-то все мы вместо бога суемся — судить да миловать. Говорю, что было. Вот Густерина нынче добром все поминают. И верно — не нагубит, не откажет без нужды... А нырнул бы наш Валентин Потапыч дите спасать? Сдается мне, сперва подумал бы, а подумавши, в деревню повернул, мужиков сбивать... Михайло себя не жалеет, и себя, и других... Суровенький...

— Вы бы здесь его еще в святые угодники записали...

Тетка Дуся вздохнула:

— Ох-хо-хо! Сдается мне, одной вы косточки.

— Кто? — удивился я.

— Ты да Михайло — два лапотка, и оба лыковы.

— Да я с ним!..

— Уже само собой, ни ты с ним, ни он с тобой за стол не сядете. Друг за дружкой брезгаете. Он за святое дело и мать, и отца в землю вобьет, а ты?.. Ты эвон жену с дитем бросил.

Мутнел за окном тихий травянистый проулок, сидела рядом на лавке тетка Дуся, как всегда — на минутку, вот-вот спохватится: «Ой, забеседовались мы!» Сидит, растворившись в темноте. А как бы хотелось видеть сейчас ее лицо, ее глаза, отгадать по ним: нечаянно ты ударила или же с умыслом?..

С умыслом?.. Тетка Дуся?.. Более кроткого человека я не встречал в жизни. Чтоб так больно, с умыслом — нужна жестокая мстительность, нужна ненависть. Тетка Дуся ненавидит меня?.. Нет! Она так думает, таким меня видит: «Ты да Михайло — два лапотка, оба лыковые». Он — отца-мать, я — жену и дочь... «за-ради святого».

Мутнело окно, душные избяные сумерки прятали нас друг от друга — тетку Дусю от меня, меня от нее. Мы рядом — и между нами пустыня. Мы рядом — и на разных концах земли.

Она не понимает. Она, которая каждый вечер молитвенно разговаривает с Иисусом Христом. Постыдно корчить из себя Христа, не постыдно к нему стремиться!

Я стремлюсь... Я хочу стать глашатаем той сказки, в которую всем существом верит тетка Дуся, сказки, скрашивающей ее нелегкую жизнь, глашатаем того, что объединяет ее, красноглинскую бабу, со всем человечеством, с теми, кто жил когда-то, живет сейчас, кто еще не родился, кому суждено будет жить по материкам и океанам нашей планеты, а возможно, и за ее пределами. Я мечтаю объединить себя и тетку Дусю с великим и загадочным племенем людей Земли! Стремлюсь к этому! Иду на жертвы!

Да, жену! Да, дочь! Да, самых дорогих мне на свете! Бросил — да! Ради великого! Да! Всечеловеческого! На меньшее не согласен. Не собой жертвую, не собственной жизнью — бо льшим! Так скажи мне спасибо, страдающая душа, изумись моей бескрайней жертве, ну хотя бы пожалей. Стою того. А ты?..

«Эвон жену и дите за-ради святого». Эвон... Осуждение. После такого я должен люто возненавидеть — себя... или тебя, тетка Дуся. Люто, непрощающе, навсегда!

За окном в густых сумерках, за оцепенелыми избами доигрывают свои последние песни гармошки, доносятся девичьи голоса, живет Красноглинка просто, бездумно, по-своему счастливо. Убитый и растерянный сижу я в темноте.

Себя или ее?... Не знаю, кого ненавидеть.

Будь проклята, обидчица!.. Нет, не смею. Не смею даже стонать, корчусь в темноте втихомолку.

— Ты, любый, и в бога вот веруешь, и жалостлив вроде, а не замечаешь, как вокруг тебя кипяточек нагревается...

Я молчал.

— Того и гляди, ошпаришь и сам сварисься...

Я молчал.

— Силен бес и горами качает, а уж людьми-то, словно вениками, трясет. Беса-то ищем в других. Михайло всю жизнь только тем и занимается: ищет беса да вышибает! Ты помоложе, еще не развернулся. Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие! Забеседовались мы, однако! Ну-кося, свет включу, корове пойло надоть вынуть...

Я, боясь, что Дуся при свете разглядит мое лицо, поспешил в свой закуток, на свою слоновью койку.

Одной кости с Ушатковым...

Ради святости жену и дочь...

И от этой святости — кипяточек не греет, а ошпаривает.

Постыдно корчить из себя Христа, не постыдно к нему стремиться. Я стремился к Христу самозабвенно, отчаянно, с надрывом, с жертвами... Жену и дите за-ради святого... Стремился и пришел... к Ушаткову.

Что я такое? И что такое мой бог?

За окном далеко девичьи голоса пели частушки:

Ах, я иду и пыль пинаю
Туфелькой шевровою...

Поют, гуляют, целуются, а у сиротливой тетки Дуси в углу лежит занесенный странным ветром сиротливый человек. Поют, гуляют, целуются — нормальная жизнь. Я недоволен этой нормальностью, чего мне хочется?..

И что станет с людьми, если они меня послушаются, перестанут жить, как жили, — нормально?... Жен и детей за-ради святого... Страшно! Страшно!

И вновь старые вопросы. И вновь у разбитого корыта. В который раз!..

* * *

Мы кончили все земляные работы — навозохранилище и ямы под фундамент. У плотников был почти готов сруб. Рубленные в лапу бревна Гриша Постнов нумеровал масляной краской, чтоб не перепутать — какое на какое потом класть. Завтра сюда со строительства ремонтных мастерских перекидывают каменщиков.

После обеда решено было отметить «по-семейному». Митька Гусак прошелся с «шапкой»:

— Гони по рваному с рыла.

И сразу же как из-под земли вырос гость. В шляпе, утратившей цвет и форму, но сохранившей ленту, воспаленно красная рожа, мокрогубый рот, растянутый до ушей в улыбке, — Мирошка Мокрый. Он услужливо рвал у меня из рук лопату, кричал весело:

— Скос-то неровно взял! Глянь со сторонки. Ну кто так скос берет, конфуз тебе в селезенку. Учен, да плохо! И-их! Алли-го-рия!

Бросал лопату, выскакивал из ямы, мчался к плотникам:

— Гришка! Гришка! Давай полустеночки-то горушкой сложим. Учи таких сопляков порядку!

Пугачев остановил Мирона:

— Зря, Мокрый, стараешься. Сегодня не обломится.

— Что так? Аль строители скупы стали? Аль я вам не компания? Какая компания с Мироном пропадала? С Мироном всюду веселье.

— И все-таки, веселый человек, отчаливай да не мешкай. С нами сегодня Валентин Потапыч сидит.

— Эхма! Алли-го-рия! Чего бы это Густерину сегодня — праздник не тот, чтобы сам председатель веселился. Чего председателю-то с вами праздновать? И всего-то навсего — землю повыкидали...

— Не твоего ума дело. Катись подобру, а то на ручках унесем.

— Да уж ладно. Э-эх, аллигория! С Густериным Мирон не путается, дорожку уступает... Ладно, ладно...

Исчез.

Я не видел Густерина с того разу, как он нанял меня на работу, даже издали. Ни разу еще председатель не появлялся на нашей стройке. Но как дух божий, Густерин постоянно окружал меня: «Валентин Потапыч просил... Валентин Потапыч указал... Валентин Потапыч обещал...»

И вот он, парадно осиянный прокаленной (тронь — зазвенит) лысиной, морщины в застывшей прижмурочке (полевое солнышко, видать, вечную улыбочку приклеило), выгоревшие жесткие усы, дедовские подслеповатые очки и юношески легкомысленная рубашка — ворот апаш, рукава короткие, и обнаженные выше локтей руки мускулисты, и походка упругая, молодеватая — почтенно стар, задорно молод, зрелой середины в нем нет. Подпрыгивая прошелся вдоль ям, приготовленных под фундаменты, заметил меня:

— Здравствуйте. Как жизнь?

— Ничего.

— Бежать не собираетесь?

— Если не прогоните.

— Как, бригадир, он себя показывает?

— Старается, — ответил Пугачев.

Он мог бы отвалить и щедрее: старается не значит справляется, а я научился вымахивать лопатой, право, не хуже штрафника Митьки, отстаю только от Саньки Титова, но с тем тягаться можно лишь на экскаваторе.

— Зачем же гнать вас — живите, если хлеб наш вам солон не кажется.

— Эй, ребята! — повернулся Пугачев к братьям Рулевичам. — Накрывайте на стол!

И Рулевичи, подхватив топоры, принялись хозяйничать: пара взмахов — отесан кол, пара ударов обухом — кол вогнан в землю, еще кол, еще — четыре ножки, на них лег сколоченный из тесовых обрезков щит — готов стол с занозистой столешницей. На нем выросли три зеленых поллитровки, варварски разодранная банка килек, на мокром газетном листе — вялые, прошлогоднего засола огурцы, колбаса, которую один из Рулевичей тут же порубил топором, буханка хлеба, располосованная на обильные ломти, мутноватые граненые стаканы...

— Милости просим, не побрезгуйте.

Густерин сел за стол и бросил на меня из-под очков быстрый, изучающий взгляд. И сразу осенило...

Как я прост! «Семейная выпивочка», председатель колхоза на ней ни с того ни с сего. Это же заговор против меня! И глава его не Пугачев — сам Густерин. До Ушаткова дошел слух о моих «душеспасительных беседах», а до Густерина разве мог не дойти? Ушатков действовал без ухищрения, с похвальной простотой: «Берегись, посажу!» Густерин не из

таких, читает исследования Веселовского, интеллигентный председатель — выпивка по случаю, застольный разговор, противник, позорно прижатый к стене...

Но только осмотрительно ли это с вашей стороны, товарищ Густерин? Вы же знаете: я из-за своих убеждений решил сменить Москву на Красноглинку, семью на тетку Дусю. Значит, убеждения-то не простые, убеждения отчаявшегося, их сокрушить вряд ли можно так вот просто, с первого раза. И вряд ли вы, товарищ Густерин, здесь, в Густоборовском районе, смогли пройти такую военную подготовку, какую прошел я и в ночных студенческих спорах, и в редакции журнала, где приходилось схватываться с теми, кто находится на переднем крае современной науки, с дерзкими и зубастыми молодыми учеными. Я бретер, Густерин, я закаленный дуэлянт в диспутах! Что же... вы сами того хотите, скрестим шпаги.

Садясь за стол, я испытывал подмивающую отвагу.

Выпили по первой, чтоб «смочить корни» будущего коровника. Густерин пригубил, поставил стакан. Наступило неловкое молчание, лица ребят торжественно натянутые, выжидающие. Митька Гусак попробовал сострить: «Милиционер родился...» Никто не поддержал.

И Густерин начал наступление:

— Признаюсь, я сам напросился в гости.

— Ради меня? — пошел я навстречу.

— Ради вас.

— Чтоб задать вопрос: как я дошел до жизни такой?

— Если неприятно — не отвечайте. Поговорим о коровнике.

— Почему же? Им отвечал, и вам готов. Но прежде вопрос: вы верите, что когда-нибудь ваш колхозник по утрам будет купаться в собственной ванне?

— Гм... Верю, иначе был бы плохим председателем.

— И я верю — будет. И пугаюсь этого.

— Ну те-с?

— Добиваться жирных щей вместо щей пустых, водопровода вместо колодца, ванной вместо лохани — да, одаривать людей, но вместе с тем, увы, в чем-то и обворовывать их.

— Эх как же так? — не без враждебности удивился Пугачев.

Но Густерин не удивился, даже поерзал от удовольствия.

— Интересно, интересно, — сказал он.

— Это как же так? Ежели я эти жирные щи заработаю, — значит, обкраду себя?

— Объясню. Не сразу. Прежде спрошу тебя, Пугачев: как думаешь, кому сильнее хочется получить — голодному кусок хлеба или пообедавшему пирожное?

— При чем тут пирожное? — сердито проворчал Пугачев. — Не темни.

— Пирожное, может, и ни при чем, да на нем человеческая натура вылезает. Если ты будешь сыт не только хлебом, но и пирожным, и удобствами, вроде ванной да сортира в кафеле, ты, возможно, и станешь еще чего-то желать, но уже наверняка не столь сильно, как прежде. Прежде-то брюхо песни пело, простого хлеба просило, не исполни его желание — ноги протянешь. Тут уж поневоле сильно желаешь, сильнее некуда. А при ванной, при большой сытости... Машину бы иметь, дом просторней, но это, право, не вопрос жизни и смерти. Твои-то желания не имеют прежней силы. А жизнь, где не очень-то желается, не ждется ничего впереди, вряд ли покажется счастливой.

— Интересно, интересно...

Пугачев недоуменно пожал плечами, но заговорил Михей Руль, на этот раз не в мою защиту:

— Что тут интересного, Валентин Потапыч, никак не пойму. Чушь какая-то. Выходит, накорми меня, тогда я испорчусь.

— Вредительская философия, — откликнулся Гриша Постнов.

— Ишь ты, лягнул, — усмехнулся Густерин. — Копытом только лошадь правоту доказывает.

— С белой ванной черненькая тоска приходит! Как вам это доказать?! Живущий

впроголодь никогда не поверит, как тяжело ожирение. Не рассчитываю, что и вы, Валентин Потапович, поймете, вы, честный рыцарь большого куска, всю жизнь положили на то, чтоб он рос в руках колхозника. Но в конце-то концов этот кусок вырастет до такой кондиции, что уже дальше его рост никого не будет радовать, цель потеряется. Конечно, сейчас в Красноглинке эти опасения кажутся смешными...

— А если нет? — спросил Густерин. — Если скажу, что каждому порядочному председателю теперь приходится задумываться — не хлебом единым жив человек...

— Разве?

— Не дождалось, когда ванны кафельные будут, раньше времени бесимся, — съехидничал Густерин.

— Что-то не заметно ожирения в Красноглинке.

— Вам незаметно, потому что не знаете, как эта Красноглинка раньше жила. Тем, кто жрал толченку из коры, а теперь кусок хлеба свинье бросает, это заметно. Сыты! Молоко пьем, пиво варим...

— И самогончик втихаря, — постенько вставил Митька Гусак.

— Раньше красноглинец в город от толченки бежал — понятно. Теперь бежит тоже, от хлеба к такому же хлебу — непонятно. Ванны да сортиры его манят? Ой ли? Найдется ли такой дурак, который рассчитывает, что его в центре города квартира с ванной ждет, догадывается — ждет-то его общежитие, да еще барачное, в одной комнате — куча мала. Говорят, культуры нехватка, мол, это гонит. Культурой что хвалиться — не богаты. Но уж так ли тоскует беглый красноглинец по этой культуре? Попадая в город, он на театры да на музеи не набрасывается. В кинишко идет, какое и мы здесь крутим каждый день. Я и на самом деле, как вы выразились, рыцарь большого куска, но и меня, рыцаря, жизнь заставляет дальше этого куска заглядывать. Дозрел.

— Тогда сделайте еще один шаг вперед и дозрейте, чтоб признать: нужна людям — всем людям, на всем белом свете! — помимо жирного куска, какая-то наивысшая цель. Учтите, не к нищете зову, не к тому, чтоб жирный кусок изо рта у трудящегося вырвать, к единой цели! Бесцельность опасна! К единой, не на день, не на год вперед — на все времена, пока жив человек!

— И как вы представляете эту всевышнюю цель?

— Конкретно? Никак. Она для меня непостижима.

— Вот те раз! — изумился Густерин. — Это что же — иди туда, не знай куда, принеси то, не знай что?.. Ребята, вам понятно?

Пугачев проворчал:

— Мура.

— Не знай что?.. Но разве обязательно знать солдату замыслы главнокомандующего? Если у солдата есть вера в гений главнокомандующего, ему легко воевать, ему даже погибнуть нестрашно.

— Эге! Наконец-то мы подходим к горяченькому. И главнокомандующий этот для вас?..

— Если он будет человек — это выльется в деспотизм. Но если за главнокомандующего над людьми признать не человека, а высшее существо...

— Бога?

— Да, бога!.. Раз я верю в то, что он, бог, по своему высокому желанию создал жизнь на планетах, в том числе и нас с вами... Раз я поверю в бога, то должен поверить, что существует у этого бога своя цель, непостижимая для меня, но высшая, правая. Значит, я начинаю жить убеждением, что мое существование не бесцельно, я осознаю свое высокое призвание.

Густерин сощурился сквозь очки, но уже не добродушно, не иронически.

— Гм... — сказал он. — А самообман-то к добру не приводит.

...Если к правде святой

Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.

Вы материалист, Валентин Потапович, пользу золотого сна не признаете, а я признаю.

— Сном, даже золотым, долго не проживешь, рано или поздно проснись и живи днем, который начался, а для этого ставь цель перед собой, и не всевышнюю, туманную — не знай что! — а конкретную, достижимую.

— Коммунизм! — выкрикнул Гриша Постнов. — Он достижим! Пусть он скажет про коммунизм! Не увиливает!

— Хорошо, — согласился я. — Пусть коммунизм. Конкретная цель. Но как вы, материалисты, понимаете ее? Стремись жить для будущей жизни, для потомков? И попробуй тут не впасть в сомнение: почему я должен жить для каких-то далеких по времени, мне незнакомых людей? Чтоб не мне, а им жилось лучше. Почему им, этим далеким, такая привилегия? Почему я кому-то должен служить удобрением? После таких мыслей я скорей всего приду к выводу: не лучше ли жить только для себя? Этого не было, если бы я руководствовался: любил того, кто рядом с тобой живет, такого, как ты сам, кто может ответить такой же любовью, согреть тебя.

— Он против коммунизма, Валентин Потапыч! Послушайте же — он против!

— Нет, за коммунизм! — ответил я. — Но не просто за материальный, а и за духовный.

— Через бога? — спросил Густерин.

— Жалкое заблуждение, что вера в бога — помеха коммунизму.

— А я не хочу жить в твоём божьем коммунизме! Не хочу! — не унимался Гриша.

— Ты хочешь жить в таком, где бы все работали поровну и получали поровну?

— Да, в таком, чтоб без бедных и богатых.

— По тебе не видно.

— А как ты можешь видеть, что я хочу?

— Я сейчас работаю не меньше тебя, устаю даже больше, топором махать все же чуть легче, чем выбрасывать глину лопатой, а получаешь ты поболее моего. И берешь не краснея, в голову не приходит тебе получать поровну со мной. Нет, ты к своему коммунизму не приспособлен.

— Себя со мной не равняй.

— То-то, мы за равенство, а равнять нас не смей.

Гриша не ответил, сердито надулся.

Наступила минутная тишина. Слышно было, как где-то у реки в прибрежном ивняке смачно щелкает и высвистывает соловей, не нашедший терпения дожидаться сумерек. Щелкает и высвистывает, поет о том, как прекрасен для него этот красноглинский мир.

— Подведем итог, — подал наконец голос Густерин, — бог вам нужен ради всевышней цели, не так ли?

— Так, — ответил я твердо.

— Всевышняя цель, — это конечная цель, дальше которой уже никаких целей существовать не может? Не так ли?

— Да, конечная, да, последняя, вовсе не проходная, то есть вечная.

— Вечная или конечная? Сами понимаете, одно исключает другое.

— Для человека — вечная, а поскольку сам человек, скорей всего, не вечен, то предполагается — эта великая цель завершит его существование.

— Ясно.

Снова молчание. Гриша Постнов сидит надутый, Пугачев весь подобрался. Густерин задумался.

Выщелкивает одинокий соловей у реки.

До сих пор Густерин только прощупывал меня, особых выпадов не делал. Должен же ударить. Все ждут. Жду я.

И он этот удар нанес с ходу, тут же, сразу после паузы.

— Ну что ж, — вздохнул Густерин, — попробую доказать, что вы или человеконенавистник, или путаник.

— Даже так? Давайте, слушаю вас.

— Цель конечная... А раз так, то она и означать должна конец человеческой деятельности, конец житья-бытья — смерть. Этого желаете?..

— Я идеалист, но не утопист, трезво смотрю на вещи. «Вера в вечность человеческого рода на Земле столь же нелепа и бессмысленна, как и вера в личное бессмертие индивидуума». Это не мои слова, а одного нашего ученого. Нашего, не буржуазного. И учтите, его никто не собирался опровергать.

— Этот ученый, может, и прав, но разговор-то теперь идет не о том — бессмертны вообще люди или смертны, — а о том, что лично вам больше нравится. Наверное, и тому трезвому ученому хотелось бы, чтоб человечество жило без конца. Хотелось, речь идет о желании. Только человеконенавистник может испытывать духовную потребность во всеобщей смерти.

— Ха! — Пугачев с размаху хлопнул ладонью по шаткому столу. — Вот оно!

— Потише! — крикнул Митька Гусак. — Жизни-то не конец, да, гляди, конец выпивке. Чуть бутылки не сбил.

— Леший с ними! Еще сбегаю.

— Послушайте, — заговорил я сердито, — ученый, который, не прячась и не лукавя, объявляет о конце, — не человеконенавистник, а я, который заявляю столь же прямо о конечной, попал в негодяи.

— Вы не заявляете, вы желаете — это большая разница. Упрекнешь врача, если он заявляет, что больного ждет смерть? А вот если он не просто заявляет, а желает смерти — значит, негодяй, если не преступник.

— Сравнение хлесткое, но ко мне-то притянута за уши.

— А разве вы не стали на путь духовного врачевания? А разве вы не втолковывали мне тут, что люди излечатся, если станут верить в то, во что вы верите, желать того, чего вы желаете? А представьте мир, где все желают по вашему рецепту конечной цели, за которой прозрачно проглядывает некая картинка общей смерти. Не случайно, видать, религия во весь голос кричала о Страшном суде. Хотите вы или нет, в старую унылую дуду трубить пробуете.

— Валентин Потапович, не смейте!.. — произнес я. — Не смейте отрывать божескую цель от бога. Они едины!

— Да уж, конечно. Каков дьяк, такова и панихида.

— Может, мы, Валентин Потапович, отбросим спор, а перейдем на словесные пощечины?

— Простите, не хотел вас обидеть. Хотел лишь сказать, что раз идея конечной цели может вызывать только страх и уныние, то и сам бог неизбежно будет выглядеть эдаким пугалом. Он же и был таким — берегись, покараю!

— Верно, был. Но человечество тем и совершенствовалось, что уходило от грозных богов, богов-пугал, к добрым, любящим. — Я вспомнил сестру Аннушку с ее богом-дубинкой и добавил: — Вся история человечества заполнена борьбой с дурными богами. Боги выступали против богов. Причем кроткий Христос побеждал Зевса-громовержца.

— Эге! — Густерин весь заморщился от удовольствия. — Глядите, как вы запели — борьба нужна. Ну да, ну да, батогом против батогов, богом против бога. А нельзя ли выразиться иначе — непрекращающаяся борьба одних идей с другими. Ведь ваши-то неуловимые боги — не что иное, как человеческие идеи. Если так, то спор кончен — договорились до материализма.

— Нет, не договорились, Валентин Потапович, О самом важном забыли.

— Ну-кось?
— О ванной забыли... Мы скоро без иронии будем произносить ругательную фразу: «С жиру бесятся». Взбесишься, если цель жизни утрачена.

— Но какая цель? Конечная же? Я же не сторонник бесцельности.

— Какой смысл играть в шахматы, если ни один из противников не сможет дать мата.
Мат — цель игры, которая, собственно, убивает игру. Убивает, а без конечной-то цели нет смысла играть.

— А когда-нибудь ради шутки играли в шахматы без королей?

— Нет.

— Попробуйте на досуге. Королей-то нет, мат исключен, но игру-то совершенно бессмысленной никак не назовешь: пока фигур полно на доске, игра как игра — мозгами ворочай, осмысляй.

— Но в конечном-то счете это бессмысленное занятие!

— А теперь представьте, что эта игра сложна и так длинна по времени, что поколения игроков сменяются другими поколениями, каждого из них конец игры просто не может заботить, потому что они о нем лишь смутно догадываются — мол, все на свете имеет свое начало и свой конец, значит, и игра ваша когда-нибудь непременно кончится. Но будут ли они от этого меньше чувствовать смысл игры?

— Вы хотите сказать, что конечная цель не определяет смысла?

— Конечная-то каждого из нас — могилка под раковым кустиком, но смысла такая цель не дает, живем иными...

Я молчал...

— Проходными... В них смысл заложен.

Я молчал.

Пугачев глядел на меня с победной усмешечкой, — знай наших. Гриша Постнов не спускал с меня круглых, совиных, недобрых глаз. Остальные же давно откровенно скучали — спор-то спором, а водку на столе забыли.

Густерин встрепенулся:

— Ну, не знаю, как вам, а мне с этой конечной целью ясно. И пора отчаливать... Да и ребята носы повесили от наших с вами — ату его!

Он легко вскочил из-за стола и, уже отбежав, оглянулся и крикнул:

— Сами признались: бог-то вам нужен ради всевышней цели. Вспоминайте это почаще! Я снова ничего не ответил. Соловьи на реке уже пели в несколько голосов.

— Ребятюшки! Козлятушки! М-м-ме-е!.. Молочко-то осталось ли?.. — Из-за бревен торопливо вылез Мирошка Мокрый.

Митька Гусак удивился:

— Ты, грибок, не под листом ли прятался?

— Туточка лежал. Уж и спал, и лапу сосал, весь истомился.

— Терпела лиса, пока бабка кур кормит.

— Ну и шакал же ты, Мокрый!

— Такому хоть орден за стойкость вешай.

— Орден, ребятюшки, — дело наружное, у меня нутро награды просит... Эй, да вы-то что тут делали? Да боже ж мой, вы сказки-то насухо слушали, ай знали, что без Мирона спешить не следует?

И-их! Председатель, уступи,
Меня в доярки запиши,
Одну коровушку дою —
Бутылочку литровую!

Развеселю вас, братцы! Знай Мирошку Мокрого! Эй, москвич! Чего нос повесил? Давай выпьем да спляшем вместем всем на потеху!

Вскочил Гришка Постнов — волосы всклокочены, щеки вздрагивают, глаза блестят.

— Ты!.. — срывающимся голосом на меня. — Ты!.. Нячнутся тут с тобой! А ты же вор! Ты весь наш советский народ обворовываешь!

— Гришка! Аллигория! Бросай политику толкать, знаем, что сознательный. Душа горит, а ты момент оттягиваешь.

— Заткнись, Мокрый!.. На тебя тратились, в институтах учили, а что из тебя толку? Выучился, извел народные денежки да отплюнулся — в святые угодники пишете!..

— Охолонь, Гришка, — вступился Михей Руль. — Пусть бы он, как Митька Гусак, от корысти, а и того нет. Какая корысть в лопате, посуди-ка.

— Если деньги растратил без корысти, по халатности — милуют? Нет, судят! Все одно вор!

— После дела кулаками машешь, — подал голос Пугачев. — Он уже побитый сидит. И не кулаком по черепу — словом по мозгам.

— А что для него слово? Что?! — кричал Гришка. — Его и в Москве словом пронять не могли. От таких слова, как от стенки горох... Не уговаривать их, а морду бить!

— И компанией еще, кучей на одного?.. — процедил Пугачев. — Тоже мне праведничек.

— Брат-тцы-ы! Опосля водки доделите, опосля водки способней по-всякому, даже по мордам простительно!.. — вопил Мирон. — А ну, раздвиньтесь, братцы, допустите меня, я тут по всем правилам устрою...

Но Митька Гусак придержал его:

— Э-э! Шалишь, Мокрый. Пусти лису на приступочку, из дому выставит. Садись гостем и не хозяйничай... Но в общем-то, чего это мы в самом деле... Идею помни, а о водочке не забывай. Божий человек, придвигай и свой стакашек — расплесну сейчас всем.

— Спасибо, — я поднялся. — Мне лучше уйти, а то, Мирон прав, после водки как бы кому учить не вздумалось.

— Баба с возу, кобыле легче, — веселенько откликнулся Мирон. Он уже восседал на густеринском месте, не отрывал замороженных глаз от бутылки. — Не жадуй, Митька, лей с краешком — с утра мучаюсь.

Руль остановил меня:

— Зря, паря, ты обижаешься. И Гришку понять должен: институт-то ему вроде господ бога, второй год на него молится. Ты от бога его отвернулся, как ему тебя не невзлюбить.

— Никакого бога у меня! Мечта за душой, а не бог! Он мне душу заплевал своим поведением. Прощать? Не-ет! Моя бы воля — душил таких!

— Иди, друг, коль собрался, — посоветовал Пугачев. — Спор-то кончен, теперь звон пустой.

Я двинулся прочь.

— У-ух! Вон оно! За что муки такие! По жилочкам, по жилочкам — аллигория!.. — раздалось за спиной.

* * *

Теплой ночью, пахнувшей речной влагой, укрыто село. Я показался на вымостках, перекинутых с берега на берег. Со всех сторон меня окружали соловьи, я стоял в центре соловьиной галактики. Их пение вкраплено в тишину, как звезды в ночном небе: одни ближе, ярче, сочнее — голоса первой величины, другие удалены, притушены — тускло мерцающие подголосочки. И обморочно неподвижные черные кусты, и темная громада вздымающегося берега, и смутным всплеском церковь на нем, и узкий серп молодого месяца над всем крапленным соловьиными голосами миром. А внизу, в веселенькой преисподней, — река мерцает и пожевывается под луной, течет, смеется, смеется, словно защекоченная.

По этим вымосткам в ночную пору никто не ходит из села — на берегу лишь церковь да поля за холмом, а еще дальше леса... Ночь скрывает меня от всех. Похоже, что, я, как

искусанный волк, прячусь, чтоб зализать свои раны.

Я сам создал для себя теорию. Если есть бог, значит, есть и наивысшая, наикрайняя цель. Сам бог непостижим, и богову цель не понять слабым человеческим разумом, в нее нужно просто верить, как верят математики, что через две точки на плоскости нельзя провести больше одной прямой. Есть Всевышняя Цель! Единая для всех! Верь и стремись к единому, не тяни кто в лес, кто по дрова. Согласие среди людей, их любовь друг к другу само по себе не есть прямой замысел бога, но отражение его — тень. А тень-то дерева соответствует самому дереву. Возлюби ближнего своего!

Такова моя теория. Право же, я испытывал от нее удовлетворение, как конструктор при виде созданной им машины, — все удачно подогнано, ничто не торчит, не гремит, не отяжеляет, нет лишнего. И главная находка: «Тень дерева соответствует самому дереву, бога видеть не надо, но его тень улавливаема». Быть может, кто-то из верующих давным-давно открыл это до меня — не знаю! Я гордился своей гуманной теорией.

И вот при первой же пробе... Да, при первой!.. До сих пор я еще ни на ком серьезно не пробовал свои взгляды. В Москве приходилось их прятать, в спор ни с кем не вступал. Здесь же одерживал победы над простоватыми ребятами своей бригады — плотниками и землекопами. Густерин первый — не простоват. И этот первый сразу же вырвал узелок — гляди, с гнильцой. Не наикрайняя цель игру делает, не стремись к ней! И через плечо с издевочкой: а бог-то тебе, любезный, нужен ради этой наикрайней да наивысшей! При первой же пробе...

Соловьиные голоса со всех сторон, голоса, освещающие непроглядную тишину. Под ногами нежно, заливчато, как от щекотки, смеется речка. Стою, облокотившись на жидкие перильца, забился сюда от всех подальше.

Приехал в Красноглинку, бросил семью. Зачем? Исстрадался по конечной...

Соловьиные голоса, соловьиная галактика...

Когда-то меня пугала кошмарность Вселенной — не познать, не охватить, жалок ты со своим умишком, случаен, бесцелен, бессмыслен. Кошмар Вселенной требовал — открой вселенскую цель, пусть даже видимость ее, самоутвердишься, перестанешь выглядеть столь жалким, ты не бессмыслица!

Не конечная цель делает игру. Гм...

Вселенная необъятна до кошмара, но тогда это уже не так и плохо. Необъятна, черпай — не иссякнет, выуживай из бесконечного одну проблему за другой, постигай цель за целью, веди игру с вечным противником. Не конечная делает игру... Вечный противник, вечная игра, никогда не утрачивающая смысла — вечная, непрекращающаяся деятельность человека.

Соловьиные голоса, буйно сочащиеся из провальной тишины. Какая ночь!..

Почему-то вдруг всплыло в памяти яркое, солнечное утро над Москвой, празднично весенняя толпа на привокзальной мостовой, бородатый парнишка в душегрейке, вывернутой мехом наружу, с независимым видом волочащий сквозь толпу по асфальту привязанную к ноге консервную банку. Консервная банка, консервный звон — презираю, люди, ваши привычки, не хочу походить на вас, вот вам, любуйтесь — не брит, не стрижен, не мыт, гремлю. Вам смешно, вам дико мое поведение, этого-то я и добиваюсь — злитесь!

Уже тогда я почувствовал, что тот нестриженный, невымытый — мой непутевый родственник. Как тогда хотелось похвалиться — обрел более интересное, чем пустая консервная банка.

Отче наш, иже еси на небеси!

Да святится имя твое...

Я готовился защищать бога, а Густерин его и не тронул. Сир, я нуждаюсь в этой гипотезе!

Отче наш, иже еси на небеси...

Гремлю своим богом, как пустой консервной банкой.

А соловьи-то здесь, соловьи! Над рекой млечный путь из соловьиных голосов!

На берегу вдруг захрустел песочек, скрипнули вымостки, раздался прозрачно легкий, почти девичий стук каблучков по дощатому настилу. Соловьиный мрак родил на свет юной луны тощую фигуру, шляпа бросала тень на узкое лицо — отец Владимир!

И на узких мостках спрятаться некуда. Он замедлил шаги и узнал меня:

— Юрий Андреевич! Я же вас искал!

Я только кивнул и ничего не ответил. Он встал рядом, положил бледные руки на жидкие перильца, на голубоватый острый нос, как жирная маска, надета тень от полей шляпы. С минуту мы слушали соловьев и смех реки.

— Благодать-то! Господи! — вздохнул он не очень искренне, тревожно.

И я снова ничего не ответил. Тогда он всем телом повернулся ко мне:

— Юрий Андреевич! Не могу! Не могу! Покою не нахожу после нашего разговору. Отравлен!

Еще один спор, не много ли для вечера?

— Лучше послушаем соловьев, Володя.

— Володя?!

— Простите, сейчас мне как-то неловко величать вас отцом. Впрочем, у вас, верно, мирское-то имя другое?

— Нет, нет, то самое, от рождения. Меняют имена только при пострижении в черное духовенство. Я — служитель церкви, а не монах. Да, да, зовите меня Володей... Сна вы меня лишили. Вы же веру мою... верой для дураков поименовали. А я молодости своей не жалею и готов, готов ею жертвовать, но это же зря, по-вашему?

— Володя... Вечер-то какой... Договориться не договоримся, а вечер испортим.

— А я хочу, Юрий Андреевич, со спокойной душой этот вечер принимать, без отравы.

Выслушать меня должны.

— Ну что делать...

— Вам желательно верить и при этом позвольте, мол, сомненьица иметь. Возможно ли такое? Вера есть вера, сомнения ей противны. Для топора острым нужно быть, а для молотка острота ни к чему. Острый-то молоток — бесполезнейшая вещь.

— Ультиматум: или — или?

При звуке наших голосов умолкли ближние соловьи и смех реки стушевался.

— Да, Юрий Андреевич, да! Или верить, или предаваться сомнению!

— Тогда, пожалуй, я выберу сомнение.

— Ага! — возликовал на всю тихую реку отец Владимир. — Так я и знал, что вы еще неверующий, еще не дозрели! Вы жаждете, жаж-де-те! Соглашусь охотно. Но берегитесь, как бы вечные муки Танталя не испытать. Жажда-то будет, а губы не освежите влагой веры.

— ...Володя... Вы человеческое душишь беретесь. Безнадежное дело.

— Ка-ак?! Это же смешно, Юрий Андреевич!.. Я — душишь?.. Ха-ха! Смеюсь над вашими словами. Я же по стопам спасителя человечества иду! По стопам нашего Иисуса Христа шагаю. Того, кто глаза на любовь открыл, кто учил любви и всепрощению!..

— Кажется, главное отличие человека — это умение мыслить. Истина-то прописная, спорить вряд ли будете.

— Ну, положим, положим. И что из того?

— И каждое разумное открытие, большое ли, маленькое, у человека начинается с догадки. С этим тоже трудно не согласиться.

— Я — верующий, я последователь — не открыватель!

— Но если б все были покорными последователями, то, наверное, человек так и не догадался бы подняться с четверенек.

— Пусть догадки, пусть открытия, я со своей верой в святое писание тут не помеха.

— Помеха. Чтоб понять, верна догадка или ложна, нужно к ней отнестись с сомнением. Обязательно! Слепо верить — значит не двигаться, топтаться на старом. Способность мыслить идет от догадки к убеждению только через сомнение. Без сомнений нет мышления, без способности мыслить нет человека. Вы против сомнений, значит... Элементарная логика говорит: отец Владимир, человеческое душите!

— Про разум и логику Христос ясно сказал: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну!»

— Ну, знаете, не компрометируйте Христа. Наверное, Христос это говорил о горе-мудрецах и о лжеразумных. Человечество отвернулось бы от него, если б он отвергал разум.

— О, как это страшно! Под благообразной личиной — бесовская рожа! Вы неверующий! Неверующий!

— С вашей точки зрения — да.

— А со своей-то, со своей посмотрите! В глубь себя! Есть ли там, в глубине-то, хоть золотник веры?

— Уж лучше быть неверующим, чем тупоголовым дураком. «Блаженны нищие духом...» Людям естественно стремиться к иному, не к духовной нищете.

— Вы дьявол! Вы лазутчик сатаны!

— Одумайтесь, за что упрекаете? За то, что человеком хочу остаться. Вольно же вам.

— Сгинь! Сгинь! Искушение!

— И мой вам совет, отец Владимир, сбросьте с себя рясу. В ней вам так трудно жить, а пользы от этого никому, только вред.

— Дья-а-во-ол!

— Всего хорошего, святой отец.

Потеснив его, я двинулся по шатким мосткам к берегу.

На берегу я оглянулся: отец Владимир маячил под луной, испуганные нашими голосами соловьи снова запели... Мне жаль этого пришибленного человека.

А себя?..

«Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну» — для этого не обязательно быть Христом, болваны всех мастей вершат такое ежедневно.

* * *

Как ни тихо я пробирался к своей постели, но все-таки спугнул чуткий старушечий сон тетки Дуси.

— Пришел, гулена?.. Молоко и картошка на столе. Остыла картошка-то давно. Охо-хо! — Заворочалась на печи, пристраивая на кирпичках свои кости. — Охо-хо!.. Тут батюшка Владимир тебя целый вечер ждал. Словно грачонок из гнезда выпал — торчком все перышки, и каркал о вере да о блаженных... Охохонюшки!

Взъерошенный отец Владимир сейчас слушает соловьев. Не дотронувшись ни до молока, ни до картошки, я залез на свой твердый матрас, вытянулся и чуть не застонал, обреченно, по-старушечьи, в один голос с теткой Дусей: «Охохонюшки!»

Ночь за окном. В этот час начинает утихать Москва, редуют под фонарями прохожие, по полутемным улицам плывут светлые сквозные троллейбусы. У нас дома потушен верхний свет, в стремительной позе спит набегавшаяся и навоевавшаяся за день дочь, горит лишь одна лампочка над изголовьем Инги. Инга перед сном читает. Она-то знает свою цель — кандидатская диссертация. Цель никак не конечная... Охо-хо!.. А может, забыв о книгах, думает сейчас обо мне. Она должна уже получить мое письмо.

Я себя чувствую каким-то угловатым, эдакой шляющейся по жизни нелепой и громоздкой железной печкой, всех задеваю, всем делаю больно. Даже отцу Владимиру... А уж Инге-то... Письмо получено: «Пойми, если можешь. Прости, если можешь. Если можешь, забудь». Пойми?.. А понимаю ли сам? И этот благородный совет: «Если можешь, забудь».

Как у тебя рука не дрогнула написать — фальшь, фальшь! «Забудь...» — желаю тебе этого. Забывают-то не по желанию, железное чучело!

Кроткая тетка Дуся жестко указала мне: не к Христу идешь — к Ушаткову!

Густерин палачески отрубил у моей теории голову. Отрубил конечную цель и не тронул бога.

Бог без своей цели! Бог, не руководящий родом людским, быть может, не знающий о его существовании...

Наш журнал, где я возглавлял отдел, как-то напечатал статью о бесконечности. После хитроумных рассуждений автор заканчивал словами: «Мы не знаем — конечна или бесконечна наша Вселенная. Возможно, человечество так никогда и не ответит на этот вопрос. Но пусть не удручает вас это...» И стояло многоточие. Если даже и существует некий вселенский конец, то он так непостижимо далек, что есть он, нет ли его — нам, право, уже все равно.

Есть ли бог, нет бога?.. Если он есть, один на все неисчислимые миллиарды галактик, то какое ему дело до одной из незримых пылинок в его громоздком хозяйстве, слишком ничтожны мы со своей планетой, чтоб обратить на себя внимание. Богу не до нас. Ну, а нам?.. Нечего рассчитывать на помощь свыше, устраивай себе жизнь своими силами. Есть ли бог, нет бога?.. Бессмысленный и праздный вопрос.

Густерин — палач — сейчас, видно, спит сном праведника.

Отец Владимир подставил голову, и я тоже по-палачески рубанул, не удержался — не отымай у меня разума, не отдам!

Но ведь сам сомневался в ценности разума. Зельдович со Смородинским не открыли мне истины. Таракан вызывал зависть — неразумен, а живет себе и живет, только квартиры меняет. Триста миллионов лет назад прятался в трещинках на стволах древовидных папоротников, сейчас прячется в щелястых пазах за печкой у тетки Дуси.

Отец Владимир зовет к тараканьему!

Куда я звал Густерина?.. Иди туда, не знай куда! Не знай, не пытайся узнать — не что иное, как бездумье, тараканье, не человечье.

Знай! — великая потребность. Сумей догадку превратить в истину. Для этого нужно обладать сомнением. Сомнение — признак разума.

Но знания и разум не всегда-то благо. Узнали атомное ядро — получили атомные и термоядерные бомбы.

А сомнения?.. Так ли уж безобидна эта столь необходимая людям способность? Эйнштейн усомнился в выводах Ньютона, Лобачевский поставил под сомнение аксиому о непересекающихся параллельных прямых... Без умения сомневаться нет открытий, нет развития — застой.

Но человечество-то состоит не только из Эйнштейнов и Лобачевских, гении редки, на грешной земле чаще встречаются тетки Дуси. А что, ежели тетку Дусю заставить — ничего не принимай на веру, сомневайся во всем? Сейчас она бесхитростно верит — надо быть доброй, отзывчивой на чужую беду. Не смей! Сомневайся! И тетка Дуся шарахнет в другую крайность: добро невыгодно, отзывчивость — помеха. Эй-эй! Опять вера! Сомневайся и в этом. Большинство на свете не Эйнштейны, для теток Дусь лозунг «сомневайся!» равносильно — отрицай все подряд: и хорошее, и плохое. Отрицающие, недоверчивые ко всему люди, недоверчивые даже друг к другу — что может быть страшнее этого? Рухнет порядок, мир захлестнет анархия: гуляй, круши, гни кто во что горазд! Нет уж, лучше преподнеси полезные правила, заставь — верь и не смей брать под сомнение! Значит, не так уж и не прав отец Владимир. К тараканьему зовет, без сомнений нет разума. А сомнения, огульное неверие и того хуже — разброд, хаос, неорганизованная жизнь, энтропия общества. Таракан — как-никак организация!

Нужна вера, нужны зримые символы веры!

Вера не может быть без авторитета. Чем выше авторитет, тем крепче вера.

Нет этого авторитета — создай! Авторитет цементирует жизнь, авторитет не допустит

хаоса. И уж никак нельзя удовлетвориться авторитетом в человеческих масштабах — бойся деспотии! Будешь верить, неизбежно упруешься в бога!

Густерин, ты не убил бога!

Отец Владимир, прости, я не совсем был прав, жалею, что обошелся с тобой жестоко.

За окном ночь. Должно быть, на реке до сих пор распевают под луной соловьи. В избе их не слышно, изба закупорена, потусторонняя тишь в душной избе, лишь легкий шорох по стенам. Тараканы шуршат, продолжают свою многомиллионную потайную жизнь.

Ночью мне снится бородатый парень. Он гремел по асфальту консервной банкой, указывал на меня пальцем и кричал голосом отца Владимира: «Дья-а-вол!»

Я встал в боевом и тревожном настроении, хотелось вскочить, отыскать Густерина: «Густерин, ты не убил...»

И новый день впереди. И наш травянистый проулок в матовой росе. И среди тускло-матовых капель переливаются, жарко горят капли-счастливицы, единицы на сотни тысяч, на миллионы заурядных капель!

Как хорош мир, господи!

Густерин, ты не убил...

Ко мне спозаранок явился неожиданный гость.

Я умывался на крыльце под позеленевшим от времени медным рукомошкой, когда услышал за спиной грузные и твердые шаги.

С борцовской грудью, с покатыми плечищами, украшенными погонами старшего лейтенанта милиции, с красными руками, вылезавшими из коротких рукавов мундира, на тесаном, нескладно угловатом лице крошечный, невинно вздернутый нос — участковый Тепляков.

Он не вошел в избу, опустил на ступеньку крыльца, пригласил меня скупым поворотом головы — садись.

— Как ты думаешь, — начал он нутряным дремотно-покойным басом, — приятно со мной познакомиться?

— Наверное, не очень.

— То-то и оно. Что ты за птица? Как залетел? Не спрашиваю. Пришел дать совет — улетай подобра-поздорову.

— Совет или приказ?

— Пока совет.

— Чем вызван?

— Разве не ясно? Эх, дурак зеленый. Тебя же спасаю, или не видно этого? — В нутряном дремотном голосе то ли нотка дружелюбия, то ли наигранной боли.

— А у меня нет оснований бояться знакомства с вами.

— У тебя нет, другие найдут основаньица. Слушай, парень, ты не вор, не бандюга, не пьяница-скандалист. Зачем мне на тебя сердце держать? Я тебе добра хочу.

— Не от сердечной ли симпатии в шею гоните?

Он тяжело поглядел из-под козырька форменной фуражки.

— Ну да, конечно, разве может сердечность быть у милиции. Милиционер не человек, детей им пугают. Не знаю, ты бы каким стал, носи эту шкуру с мое. А я уж двадцать лет ее таскаю. Что ни грязней, то я разгребаю. Муж жену избил — ко мне бегут. Пьяные сбесились — ко мне. Вор вынырнул — я держи его за шиворот. За двадцать лет я нагляделся на всякое. Никто в Красноглинке столько за каждым не знает, сколько я вот здесь храню, — красный могучий кулак ударил в грудь. — Тут ведь или на людей остервенишься, или прощать их научишься. И мне кажется, я научился людей прощать, от радости в пляс не пускаюсь, когда хватать кого-то приходится. Можешь мне верить. Я уж от людей спасибо особого себе не жду.

— Верю.

— А коль веришь, то слушай — не дурное советую.

— Но почему? Почему? Без вины же пинком в зад не выпроваживают.
— Опять двадцать пять! Тебе кажется, без вины, а другие-то иначе на это смотрят.
— Значит, эти другие смотрят мимо закона. Спасибо за совет, но никуда не уеду.
— Вольному воля.
— И ничего вы со мной не сделаете. Я не из тех бессловесных, нужно будет — закон напомню. И громко!
— Ты знаешь, кто такой Ушатков?
— Имел честь познакомиться.
— Познакомился, да плохо. Он горло драть не будет, карусель закрутит — сорвешься с этой карусели в грязь, не отмоешься.
— Тогда защитите. Вы мундир носите, который обязывает законы-то охранять.
— Нет уж, я и без тебя кручусь до беспамятства, влезать в эту карусель не хочу. Тебе и мне лучше, если ты завтра утром уедешь.
— Нет.
Тепляков поднялся, взглянул на меня с высоты своего роста:
— Что ж... Мне бы не хотелось еще раз с тобой встретиться.
Грузными и твердыми шагами он двинулся от крыльца. В его широкой спине ощущалось что-то натянутое, настороженное, должно быть, ждал, что я окликну. Я не окликнул.

Мне надо идти на работу. Гришка Постнов ненавидяще отвернется от меня. Митька-штрафничок с сочувствием станет мне подмигивать: «Заливай, бог-то бог, да, видать, ты сам не плох». Митька видит во мне собрата по несчастью — тоже чем-то крупно проштрафился, потому и скатился в Красноглинку. Михей Руль, верно, по-прежнему осуждает в душе: не будь дураком, не кукуй на весь лес. Пугачев... Он, пожалуй, будет молчать и... презирать меня, без злобы, снисходительно, но убежденно: свален «не кулаком по черепу — словом по мозгам».

Никому из них я не докажу, что Густерин еще не убил во мне бога.

И сказка все еще живет во мне. Вижу берег моря Галилейского, развешенные сети, рыбацьи барки... Его берег, его учеников.

Сказка-то живет, но сам-то я, кажется, выпрыгнул из сказки. Мне теперь, право, стыдно, что я играл в Христа, Михея Руля сравнивал с апостолом Петром, Гришу Постнова с Савлом, а Митьку Гусака — надо же! — с Иудой...

Сказочный Христос в последние дни вызывает у меня подозрения. «Блаженны нищие духом...» — поп Володька это приемлет, а меня оскорбляет. А птицы небесные, которые не сеют, не жнут, сыты бывают?.. «Не заботьтесь о завтрашнем; завтрашний день позаботится сам о себе».

Но даже скудоумная мышь, когда лезет из норы, имеет про себя заботу наперед — наскочить на оброненную корку, поживиться ею, и не сию минуту, но в самом что ни на есть ближайшем будущем. Не будь у мыши этой способности заботиться наперед, желать чего-то в будущем, она не жилаец на свете. Отсутствие желаний — бездеятельность, бездеятельность — это смерть.

И птицы небесные полны забот о будущем, бесхитростных забот о куцем будущем. Надо искать корм, чтоб насытиться, надо сегодня высидывать яйца, чтоб завтра появились птенцы и данный вид птиц небесных не вывелся на земле.

Человек — самое дальновидное существо на планете, распространяет свои заботы не только на завтра, а заглядывает через года, а порой через столетия. Человек не просто деятель, он сверхдеятель. Деятельность же требует расхода сил, приносит утомление. Удивительно ли, что мы часто испытываем усталость но столько физическую сколько духовную.

«Не заботьтесь о завтрашнем; завтрашний день позаботится сам о себе». И можно избежать досадной усталости, не исключено, можно впасть даже в полное блаженство, но тогда

человек начнет деградировать.

Густерин не убил во мне бога, я сумел его спасти, словно зная после поражения. Но что-то мой бог потускнел, украшавшие сказки свалились с него. Бог — сам по себе, сказки — сами по себе, и я теперь смутно вижу его. Зная ли вынес я из боя, не древко ли?

Мне надо идти на работу. И неохота... Неохота встречаться с теми, кого я собирался учить, уже распределял им роли по сказке.

Учить... Да я же сам с собой не разберусь!

А тут еще Тепляков. «Исчезни! — совет с угрозой. — В следующий раз я пожалую уже не с советами».

Мне трудно, люди! Я ждал от вас внимания, ждал сочувствия, что скрывать, ждал даже благодарности и восхищения. Теперь не жду.

Мне трудно, люди! Не прошу от вас уже многого: лишь не трогайте меня, не гоните, оставьте в покое, дайте разобраться с собой наедине!

Надо на работу. Надо. Обязан. Я влез в рваные штаны, натянул резиновые бахилы.

На стройке у нас произошла заминка — каменщики не явились. Я с Митькой Гусаком натаскал с реки на носилках кучу песка для будущих растворов. Пугачев не нашел, чем нас еще занять, отпустил:

— Топайте по домам, чтобы здесь не курортничать.

Я давно уже хотел купить себе рабочие брюки. Штаны, подаренные Пугачевым, катастрофически расползлись. С ощущением невеселой праздности я шагал к центру села, к магазину.

Красноглинка, исхоженная уже вдоль и поперек... Тесовые крыши, получившие под дождями и ветрами закалку до сталистого цвета. Благородный цвет, не один век уже сводящий с ума русских художников. И под сталистыми крышами оконца с белыми наличниками, внюхивающиеся в черемуховые кусты. И травянистые просторные улочки, и тропинки, тропинки по ним. Тропинки здесь, в Красноглинке, особые, с игрой, с лукавством, словно их протаптывали люди после веселых праздников, не слишком трезвые, не слишком хорошо справляющиеся со своими ногами. Зеленая Красноглинка вся исхожена с переплясом. И время от времени в ней раздаются воинственные вопли несмазанного колодезного ворота. И черт возьми, когда же я успел полюбить Красноглинку? И каждую курицу на дороге я уже, кажется, «знаю в лицо». Красноглинка знакомая, Красноглинка близкая и... чужая.

Баба с ведрами, встретившаяся на пути, говорит мне «здравствуйте» не потому, что признает меня своим. Со своим бы она перекинулась не одним словом, для своего у нее бы нашелся вопрос: «Куды, гулена, лыжи востришь?» Или шуточка: «Форсист ты, парень, штанцы, гляжу, больно нарядны». Или же какая-нибудь нехитрая просьба: «Скажи Дуське, пусть пилу принесет». В Красноглинке все соседи, все близкие, жизнь столь тесно переплетена, что при встрече всегда найдется сказать что-то такое, которое не укладывается в одно слово. Даже молчание означает намного больше дежурного «здравствуйте»; встретил да промолчал — неспроста, значит, сердит, знать не хочет, обиду показывает. А «здравствуйте» это — замечаем тебя, человек, нет при виде тебя ни радости, ни горя, иди себе мимо. «Здравствуйте» здесь приветствие для чужих.

А ведь я живу тут третью неделю, не скрываю, что хочу жить вечно, но приезжий, лишний...

Как-то в работах известного психиатра Бехтерева я прочитал, что личность никогда не исчезает бесследно, даже после смерти. Живи в Москве — я, наверное, оставлял бы более ощутимые следы своего «Я» и в дочери, и в Инге, и в товарищах, даже если бы я продолжал прятать свое, жил в нелегальщине. Здесь все нараспашку: предлагаю — смотрите, что творится во мне. Приглядываются, и даже с любопытством, даже с досадой, но и любопытство, и досада — чувства, быстро проходящие. Исчезни я сегодня из Красноглинки, завтра, быть может, еще и вспомнят — был-де такой, послезавтра забудут.

Прав Бехтерев: личность не исчезает, а анекдот — да. Я анекдот для Красноглинки.

Центр села — травянистая площадь от магазина до клуба, от чайной до колхозной конторы (сельсовета тож) — все в тех же послеименинных тропинках. Площадь с фанерной трибункой для празднования Первого мая и Октябрьской революции. Грузовик у чайной, две козы под клубной афишей, куры и я, странный человек в истасканных до лохмотьев, латаных и перелатанных штанах, в грязных резиновых сапогах-бахилах, в теплой кепке, с обгоревшей, давно утратившей интеллектуальный лоск физиономией. Странный человек — завезенный из столицы случайный анекдот. Как мне одиноко здесь, в зеленой Красноглинке! Соглашаюсь с Бехтеревым, вместе с ним признаю духовное бессмертие каждого из людей, а сам не смею рассчитывать на это.

На стене клуба, вызывающе громоздкого здания с игривым крылечком и плакатом «Добро пожаловать!», наклеена большая афиша.

ЛЕКЦИЯ

«Религиозные верования и современная наука».

**Читает Лебедко А.К. — лектор
областного общества «Знание»**

Нач. в 8 ч. вечера.

После лекции танцы

Любопытно. Нет, не лекция сама по себе. Крайне любопытно — случайно это мероприятие или оно как-то связано с моей особой? Пять дней назад мной заинтересовался Ушатков, за пять дней заполучить лектора, и не районного, а специального, из области, — верх оперативности. Лекторы не пожарники, по тревоге сломя голову не срываются. Случайность?.. Но что-то слишком удачная для Ушаткова. И этот утренний визит участкового Теплякова: «Уезжай подобра-поздорову». Тепляков не скрывал, что Ушатков что-то предпринимает и его мне следует бояться. Что бы все это значило?

В магазине прохлада, полутьма, благородный блеск выставленных на продажу радиоприемников, запахи кожзаменителей. Если на улице только козы у клуба, то здесь легкая толкучка — идет бойкая торговля темно-синими твердыми фуражками. Какая-то бабушка — не из самой Красноглинки, заходя из окраинной деревеньки — купила сразу пять одинаковых фуражек, укладывает их в корзинку.

— Что, бабка, много набрала? — интересовались со стороны.

— Лишнего не взяла, на каждый картузик голова припасена, соколики. Двое внуков подросли, форсить надо? А зятю надо? А старик так ходит? Старик тоже плешь прикрыть новеньким любо. И еще племяш есть, под Костромой живет. Может, ему и негоже, но все подарок.

Парень, губастый, щекастый, долго примерял фуражку перед зеркалом — набор посадит, собьет на затылок, клочок волос выпустит из-под козырька, любуется — ну до чего ж хорош, красавец писанный. Наконец красавец сунул старую кепку в карман, попку уже окончательно водрузил на голову, не оторвав бумажного ярлыка с ценой. Белый ярлык торчал в сторону, как щенячье ухо, а на щекастой физиономии — откровенная, не без величия, гордость — не в какой-нибудь, а с пылу с жару, новенькая, хоть цену гляди, без обману, то-то! Раскачивая плечами, он вынес в солнечный мир голову, украшенную синей, с биркой, фуражкой.

А рабочих брюк не было. Висели грубошерстные похоронно-черные костюмы пятьдесят шестого размера.

— Возьми фуражечку.

Нет, фуражка мне не нужна, старая кепка служит.

Я двинулся домой штопать штаны мимо афиши: «Лекция — Религиозные верования и современная наука».

В окно постучали:

— Эй, Рыльников.

За окном кучкой — парни, впереди всех Гриша Постнов.

— Выйди.

Я вышел на крыльцо.

Гриша Постнов что жених на выданье — полосатый галстук, завязанный большим узлом, тесноватый в плечах новенький пиджачок, суконным теплом вызывающий банную испарину на круглом строгом лице, пшеничный чуб начесан на брови, узкие, бархоткой наведенные до предельного блеска туфли неловко топчут мусорную землю. За Гришей человек пять — руки в карманах, плечи расправлены, ноги расставлены. Среди них тот, что днем при мне обзавелся в магазине обновкой, сейчас синяя фуражка сбита на затылок, белый ярлык уже оторван.

— В чем дело?

Гриша Постнов подбоченился:

— Пришли повести тебя на лекцию.

— Гм...

— Не гмыкай, а пошли.

— Спасибо за заботу, но мне не хочется.

— Это мало ли что. Другим хочется, чтоб ты там был.

— Кому — другим?

— Ну, нам хотя бы.

— А почему я вам так уж нужен на лекции?

— Нужен — и все, лишка-то не кобенься. Одеваться иди, а то силком утащим.

— Вот это приглашение!

— Ничего. Мы не от себя, мы вроде дружинников — задание выполняем.

— Чье задание?

— Это тебя не касается.

Упрись я, начнется некрасивая свалка. Их шестеро, я один — избу разнесут.

— Отлично. Будем считать, что у меня вдруг появилось горячее желание прослушать антирелигиозную лекцию товарища Лебедко.

— Так-то, поди, лучше... Но гляди, кум, чтоб без хитростей.

Я впереди, на шаг от меня отступя, старательно соблюдая дистанцию, вся сплоченная, серьезная, преисполненная решимости компания, так что каждому встречному ясно — ведут!

На крыльце клуба — букет, красноглинские красавицы в глазастых платьях, в капроновых чулках, в туфельках на высоких каблуках и в одинаковых косыночках на плечах модернистой расцветки, с изречением: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама!» Наверное, эти косынки завезли недавно в магазин крупной партией, как и темно-синие фуражки.

— Дорогу! Дорогу! Не торчите на дороге! — покрикивал Гриша Постнов.

И дорогу уступали, с любопытством оглядывали меня, шушукались.

Хмуроватый зал еще не заполнен, только заняты самые тыловые места — по углам, вдоль стен, подальше от сцены. Парни кучками, рассказывающие что-то друг другу с гоготом; кучками, скромненько девчата, много беспокойных ребятишек разного школьного и дошкольного возраста. Уж, конечно, их-то особенно трогает проблема религии и науки, которую обещает преподнести осведомленный городской лектор товарищ Лебедко. И ни одного взрослого. Хотя нет, есть один; в самом центре зала в чинном одиночестве и примерном терпении отсвечивает знакомая лысина — Михей Карпович Руль собственной персоной в чистой рубахе. Как-то непривычно видеть его без бравых Рулевичей по бокам.

Михей Карпович, заметив меня, пошевелился, приподнялся, хотел что-то крикнуть, должно быть, позвать к себе, но, разглядев окружение, смутился и скромненько сел. Меня провели в самый первый ряд:

— Тут садись.

Один из моих сопровождавших пододвинул мне стул и смущенно покраснел за свою услужливость, отвернулся под грозным взглядом Гриши Постнова.

Место по центру, в упор в трибуну, с правого плеча Гриша Постнов, с левого — внушительный парень в синей фуражке, ниточка от оторванного ярлыка висела у него над ухом, суров и серьезен — страсть!

Сцена парадно залита светом двух сильных лампочек, свисающих с потолка. Сцена спартански проста: крашенная охрой опасно неустойчивая трибунка, стол под вылинявшим кумачом, графин с водой на столе. Все готово для ритуальных церемоний, но жрецы запаздывают.

Мне немного обидно — нет, не на Гришу Постнова, что уж с него взять, — на Михея Руля. Смутился, откачнулся, а ведь если кто и сочувствует мне, то это он. Из всей Красноглинки — он единственный, не считая, быть может, тетки Дуси. Михей Руль — святой Петр. Впрочем, что же я осуждаю Руля, если настоящий Петр-камень трижды отрекся от Христа.

Сцена пуста, жрецы задерживаются. С правой руки — Гриша Постнов, губы в ниточку, с левой — сопящий парень в синей фуражке. Я один-одинешенек, мой Петр отрекся от меня, нет сочувствующих.

Чтоб как-то развлечь себя, я завел разговор с Гришей Постновым, с соседом слева не осмелился — слишком уж строг его профиль.

— Мучаюсь догадками: уж не ради ли меня пожаловал сюда высокий гость?

— Много чести, — буркнул Гриша.

— А я — то, признаться, был польщен. На борьбу со мной область выслала ответственного бойца.

— Держи карман шире. Он уже давно тут по району у нас ездит. Обслуживает. Попросили — к нам завернул, долго ли.

— Все ясно. А я — то, дурак, от гордости лопался. Думал: специальный, экстренный, мой персональный!

— Такой специально одним заниматься не станет. Ученый человек, читает лекции и по науке, и по международному положению.

— И чтец, и жнец, и ни дуде игрец?..

Гриша понял, что ему выгоднее замолчать.

Первые признаки начинающейся лекции пришли не со сцены, а с улицы. За дверями зрительного зала раздался чей-то «руководящий» голос:

— Ну, давай, давай, шевелись! Миловаться пришли! Входи побыстреньку!

И за спиной начался шум вливающих в зал людей — говорок, девичий смех, стук скамеек.

И вот наконец, откуда-то сбоку, из закулисных покоев появились председатель сельсовета Ушатков и следом без величия, бочком, даже с какой-то невнушительной суетливостью — куда пристроить портфельчик? — он!

Тем не менее Гриша Постнов победоносно и горделиво сверкнул на меня глазом — мол, ну, держись теперь!

Ушатков с каким-то профессиональным навыком, скупно и непререкаемо тронул карандашом графин, стынувшим взглядом обвел зал, дождался тишины, прохладновато поглядел на меня, показательно выставленного в первом ряду.

— Товарищи! К нам в Красноглинку приехал представитель... М-м... От организации... От областного общества по распространению полезных научных знаний... Товарищ Лебедко Анатолий Константинович! Поприветствуем его, товарищи.

Приветствовали аплодисментами, правда, жиденько.

— Не хочу забегать вперед, так сказать, предварять события. Скажу лишь одно — не случайно приехал к нам лектор, не случайно он обратился к нам с нужной, так сказать, актуальнейшей темой. А теперь сразу — без разных там проволочек предоставлю слово товарищу Лебедко Анатолию Константиновичу. Поприветствуем его еще раз.

И еще раз жиденько и вежливо поприветствовали — отчего же, не жалко.

А я — то ждал, что Ушатков с ходу подымет мое имя, как рогожное знамя.

Нет, он не обладал счастливой внешностью трибуна, которая приковывает и покоряет. Невысок ростом, в приличном, в меру потертом костюме — в дорогу не жалко, перед публикой появиться не стыдно, — держится угловато, одно плечико вздернуто, другое опущено, лицо грустное, мягкое, вежливое, лицо до кротости воспитанного человека. Нет, не кулачный боец, трибун, не всесжигающий и не зажигающий. Похоже, что он книголюб, изрядно знает, не пользуется избитыми приемами заштатных лекторов, не упомянул о набившей оскомину библейской оплошности, что-де бог свет сотворил раньше солнца, но сообщил о рукописях Мертвого моря, сектах эссеистов, легенде о Гильгамеше, даже рассказал то, чего я, бывший сотрудник журнала, падкого на научные сенсации, не знал, — новейшие сведения о месте, которое Библия выдает за рай Эдемский...

Право же, лекцию никак нельзя было назвать бессодержательной.

— Приманка идеалистов, товарищи... — У него негромкий ясный голос и во рту уютно поблескивает искорка золотого зуба. — Приманка идеалистов, товарищи, — это учение о бессмертии души. Религия считает, что умирает только тело, а душа, отделившись, продолжает жить. Души, как вам известно, благочестивых людей попадают в рай, где их ждет вечное блаженство. Души же нечестивых низвергаются в ад, где для них приготовлены кипящая смола, раскаленные сковороды и прочие устрашающие атрибуты мучений. Мы же, материалисты, в ответ на эту наивную и прекраснуюдушную ложь честно заявляем — человек смертен! Нас ничто не ждет за гробом. Честно! Мечтать о бессмертии души столь же противоестественно и нелепо, как надеяться, что время потечет вспять, что старики станут юношами, а юноши младенцами. Существуют незыблемые законы, товарищи, — законы природы, их нельзя не признавать, глупо от них отворачиваться. Математик не может допустить, чтоб сумма углов в треугольнике была, скажем, больше или меньше ста восьмидесяти градусов. Физик не может не считаться с законами сохранения энергии. Так же бессмысленно убаюкивать себя каким-то бесплотным бессмертием — бессмертием души.

Он кончил, и ему снова вежливо похлопали. Со своего места встал Ушатков, тощий, с прозрачным лицом, бесстрастный:

— Не расходиться, товарищи! Лекция, так сказать — половина нашей сегодняшней программы...

Никто в этом и не сомневался, все пришли в клуб не ради лекции, ради танцев. Но Ушатков готовил другое.

— Мы выслушали лекцию, товарищи. Из нее мы узнали, как глядит наука на религию. Надо прямо сказать, — косо глядит! И можно ли представить, товарищи, ученого, образованного человека, который бы за компанию с какой-нибудь безграмотной старухой лоб разбивал перед иконами: мол, прости, господи, и помилуй! Где-нибудь в гнилых заграничах и водятся такие диковинки, а у нас — нет! Нет?.. А так ли?.. Нежданно-негаданно к нам в Красноглинку из самой Москвы пожаловал один... Тихо, товарищи, тихо! Не надо лезть друг на друга, еще наглядитесь, еще покажем его!.. Так вот, пожаловал. Кто он?.. А он кончил, товарищи, столичный институт, от больших профессоров знания получал и специальность освоил, прямо скажем, почетную — физик он, товарищи, физик! Он об этой физике даже статьи в журналах пописывал, казалось бы, грамотен и научно подкован... И вдруг откровенно, сказал бы даже — вызывающе, этот физик признается: верю в бога и горжусь этим! Подковали его научно, а он, глядите, на все четыре ноги хромает. В Москве, видать, таким идейно хромающим не сладко приходится, значит, давай к нам, в Красноглинку. Тут, мол, народ лаптем шти хлебает, возле них мило-дорого заживу. А

неужели, товарищи, мы такие простачки, что гнилой гриб от здорового на глазок не отличим? И навряд ли нас испугаешь чуждой пропагандой, выслушаем и не угорим. И сейчас нам, товарищи, стоит попросить этого столичного гостя: выйди, покажись, мы поглядим да послушаем...

— Пос-лу-ушаем!

— Про-оци-им!

— Что же, Рыльников, выйди, выверни, так сказать, нам свое нутро наизнанку.

— Эй ты! Кажись! Не прячься!

Крик по всему залу. А рядом со мной, как ужаленный, взвился Гриша Постнов:

— На свет мракобеса! На люди! Вышибай из него господ!

— Требуем! — загудел мой сосед в синей фуражке.

— Товарищи! — поднял костлявую узкую руку Ушатков. — Тихо! Без паники! Рыльников, народ требует! Выходи, чтоб не где-то за углом, не шепотом, а в глаза нашему красноглинскому народу...

— Иди добром, хуже будет! — Гриша Постнов весь подобрался, глаза колючие, щеки пылают — вот-вот вцепится в грудь.

И прямой, остроплечий Ушатков, взирающий на меня с высоты председательского места; неловко поеживающийся, смущенный столь крутым оборотом лектор, старающийся глядеть мимо меня; и Гриша Постнов с товарищами; и недоброжелательно грозный гул людей за спиной... Надо выходить, будет хуже.

Я встал и двинулся к лесенке, ведущей на сцену. Тишина в зале, тишина, только слышно дыхание людей.

На верхней ступеньке я споткнулся, и кто-то засмеялся в зале. Еще этого не хватало, чтоб стать посмешищем. И смех вызвал злость. Стараясь ступать как можно тверже, я прошел к трибуне.

Я почему-то ждал, что зал набит до отказа, что народ передо мной предстанет монолитно единым, а зал наполовину пуст, населен с прорехами, и конечно же людей, сидящих в нем, не так уж интересуется религия, танцы больше. И все-таки лица — отсюда смытые, без выражения — пугают. Лица, лица и разбросанные по залу светлые косыночки на плечах «Пусть всегда будет мама!».

Я, наверное, стоял долго, тишина стала заливаться ехидным шепотком и шушуканьем. Пора начинать.

— Ну поглядели? — спросил я. — Глядите — вот как выглядит мракобес. Наверное, примерно так же, как в старые времена еретик, — с рогами на лбу, с копытами на ногах.

В зале засмеялись. И Ушатков сердито постучал по графину:

— Без шуточек! Без шуточек! Серьезно!

— А я со всей серьезностью, товарищ Ушатков. С серьезностью и с готовностью, как видите. Предлагаете, чтоб я вывернул свое мракобесное нутро, — пожалуйста! Готов! Выверну, если подскажете, как это делается.

За время серьезной лекции зал осоловел, истомился, он ждал развлечений, потому свирепо кричал: «Вытащить!» Ради развлечения готов был на жестокость. Но и я предлагаю развлекаться, зал и со мной согласен — почему бы и нет? Смешки и шевеление в зале. Ушатков стучит по графину.

— Для начала скажите нам, — произносит он, — согласны ли вы с лекцией?

— Нет, далеко не во всем.

Смех и шевеление разом кончились.

— Так! Выкладываете, с чем именно?

— Ну хотя бы с тем, что бессмертия души не существует. Я считаю — есть бессмертные души!

Кто-то из глубины зала выдавил из себя насмешливо трубное:

— Ну-у!

Лектор Лебедко поглядел на меня с брезгливой иронией. Что же, выручай, Бехтерев!

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами,
Где нужно действовать умом,
Он только хлопает ушами, —

прочитал я.

— Что это?

— Это, товарищ Ушатков, частица души человека, умершего сто пятьдесят лет тому назад.

— По чьему адресу такие слова?

— Надеюсь, не по вашему. Сто пятьдесят лет назад вас еще не было на свете... Товарищ лектор, помогите убедить мне товарища Ушаткова, что стихи — это духовное проявление человека, так сказать, выражение его души...

Лектор ничего мне не ответил, он откинулся на стуле и сердито розовел. Похоже, что и он, как Ушатков, принял стихи на свой счет.

— У известного русского ученого Бехтерева, — продолжал я, — есть сочинение, которое называется: «Бессмертие человеческой личности с научной точки зрения». Прошу обратить внимание и уважаемого лектора, и всех здесь присутствующих на слова — «бессмертие личности», и не просто, а с «научной точки зрения». Известный ученый утверждает, что духовная сторона человека никогда не исчезает бесследно, а живет в потомках. Так вот, более ста пятидесяти лет тому назад некий человек, Гаврила Романович Державин, потратил свою духовную энергию, написал это стихотворение. Сам он умер, а его духовное, частица его души продолжает жить и сейчас среди нас. Тут я смог назвать, чья это душа, в большинстве-то случаев духовное продолжает жить безмянно. Вот вы, товарищ Ушатков, сидите за столом, а кто-то впервые затратил духовную энергию на догадку — поставить на четыре ножки столешницу. Неизвестно, сколько тысяч лет назад умер тот человек, забыто его имя, истлели его кости, а его духовное, выраженная частица его души живет среди людей в виде материальных столов, за которыми едят, пьют, работают, заседают. И что бы мы ни взяли, чего бы мы ни коснулись, всюду наткнемся на живущие души давно умерших людей. И графин с водой, о который сейчас вы вызваниваете карандашиком, товарищ Ушатков, сам карандашик, пиджак на ваших плечах, кусок хлеба, съеденный вами за обедом, — все эти вещи состоят не только из осязаемой материи, но еще из духовного проявления давным-давно умерших людей. Мы, сами того не сознавая, живем среди распыленных по частям бессмертных душ. Они, эти бессмертные, не прозябают в раю, они среди нас и умрут тогда, когда умрет все человечество...

Но Ушатков уже давно звенел по графину. Он поднялся, небрежно махнул мне рукой:

— Садитесь!..

— Но я бы хотел еще поговорить о бессмертии души.

— С нас хватит. Наслушались.

— Быть может, вам хватит, а другим нет.

— Садитесь!

Из зала никто меня не поддержал, и я, пожав плечами, пошел со сцены к своему месту, каждой клеткой тела ощущая направленные на меня взгляды. Лицо Гриши Постнова, охранявшего мое место, было угрюмо-угрожающим. Я сел, он раздраженно повел плечом — готов бы совсем отвернуться, да кресло мешает.

На костистом лице Ушаткова — красноречивое выражение значительности момента: мол, все ли слышали, видели, какие чудовищные странности случаются в мире сем?

— Что ж, товарищи!.. — взгляд Ушаткова по притихшему залу, взгляд спокойный и суровый, голос уверенный, даже немного грустный. — Приоткрыл нам Рыльников свое нутро. Да! И обратите внимание — прямо фокусник из цирка, тут вам и ученого Бехтерева из рукава вынул, и стишки беспардонные, и стол, видите ли, не стол — поковыряйся в нем,

душу найдешь. Надо честно признать — ловок! Какой вывод, товарищи? А вывод, думается, один — мы должны повесить свою бдительность! Сейчас у нас, товарищи, не собрание, где принимаются решения, а, так сказать, культурное мероприятие. Но разрешите заверить, что мы этого без последствий не оставим, доведем до сведения кому нужно, что нужно предпримем. Вот все!.. Объявляю перерыв. После перерыва, как обещано, танцы.

Заключительная речь Ушаткова произвела впечатление даже на областного лектора, тот сначала метнулся выходить в противоположную сторону, но потом поправился и удалился мелкими шажками, бочком, вздернув одно плечо, опустив глаза долу.

Моя охрана встала, нерешительно потопталась и подалась от меня. Они выполнили свое задание. Гриша Постнов демонстративно стоял ко мне спиной, заложив руки в карманы, и по всей спине разлито красноречивое презрение.

Не уходил только парень в новой синей фуражке, нацелившись вздернутыми ноздрями, он разглядывал меня удивленно и, похоже, со страхом.

Я встал со своего места. Встал и очутился лицом к лицу со стеной. Люди плечо к плечу сбились в проходе, разглядывали... В упор, молча, без какого-либо осуждения, без жалости, па лицах можно уловить лишь одно — ничем не согретое любопытство. Стеной... Только сзади легкое шевеление, задние, чтоб поглазеть, тянулись на цыпочках. Глаза парней... Глаза девчат... Белые воротники рубах, охватывающие крепкие, загорелые шеи, тугие кудри шестимесячной завивки, платочки «Пусть всегда будет мама!».

Сходя со сцены, я был уверен, что говорил о бессмертии души интересно и содержательно, — должен убедить многих. Был уверен, что Ушаткову не опровергнуть меня. А он и не пытался, он лишь указал: «Опасен! Берегитесь!» Ушатков вышел победителем.

Глаза, глаза, глаза, без сочувствия, но и без осуждения. Я уже и осужден, и повержен, я стою против всех — это ли не красноречивое доказательство моей полной беспомощности. Глаза, глаза, глаза... Не каждый-то день так близко увидишь вражеского агента.

Стена из глаз преграждала мне путь к выходу. Я двинулся вперед. Первый дал мне дорогу парень в синей фуражке. Прошипел вслед:

— У-у, контра!

Остальные расступились молча — перед обреченным, перед тем лежачим, кого уже не бьют.

Над крыльцом клуба на столбе горела электрическая лампочка, и вокруг нее кружили ночные бабочки. От них на стены, на землю падали мятущиеся тени, словно по воздуху проходили судороги. И где-то в сумерках, в стороне от фонаря, слышались пьяные голоса.

На крыльце стоял человек, смотрел на пляску бабочек под фонарем. Он повернулся, и я узнал Пугачева. Гладко причесан, кажется выглаженной и широкая чашеобразная физиономия, под припухшими веками — сумрачный блеск глаз.

Он помолчал, разглядывая меня, сказал ворчливо:

— Напрасно ты перья распустил перед Ушатковым. — Похоже, что Пугачев меня жалел. — Ушатков-то уже давно никого не хватал зубами. Стосковался.

— А ну вас всех к черту! — сказал я устало.

— И чего это Гришка к нему в помощники полез? Ушаткова сам терпеть не может.

— Меня, видать, больше не терпит. А ну всех!..

Я стал спускаться.

В это время под фонарь вывалилась пьяная пара. По расползшейся шляпе с лентой я узнал Мирошку Мокрого. Он обнимал тощенького патлатого паренька, кричал ему в ухо:

— Ты кто? Ты аллигория!

Поп Володька в объятиях Мирошки Мокрого, в пиджаке, в сапогах, без шляпы, гнется и качается, еле держится на ногах.

— Я жить хочу! Жить! Брезгают мной! Отворачиваются! Чем я хуже других? Я же человек, как и все! Че-ло-век!

— Ты не человек, ты аллигория сплошная! Ба-атюш-ка... Какой ты к ляху батюшка, ты мне в сыны годишься!..

Отец Владимир заметил меня, распрявился, оттолкнув лобызавшегося Мирона, нетвердо шагнул, с минуту качался и рвуще заголосил, перекосив мокрую бородавку:

— Он... Глядите — он... Что смотришь? В грехе святой отец! Грешник я — да! Мразь! Каюсь! А ты?.. Ты того хуже! Ты антихрист! Верующим себя считаешь! Врешь! Ни в бога, ни в черта не веришь! Он все-ем врет! Над все-еми изгаляется! Себя любо перед всеми выставить! Тьфу, сатана! Тьфу на тебя! Вельзевул в образе человека! Не верьте ему! Не ве-ерь-те! Проклинаю! Анафема!..

А Мирошка Мокрый отплясывал рядом, восхищенно хлопал себя по тощим бедрам:

— Усь! Усь! Так его, батюшка! Куси!..

Покачивая плечами, выступил Пугачев:

— А ну, проваливайте, а то морду набью.

— Не ве-ерь этому! Сатана! Ирод! Змей! Без души он!..

— Катись, поп, по шее огрею!

— Идем, идем, аллегория... Не кобенясь, Пашка Пугач шутить не любит... И-эх!

Красноглиночка не город,
Красноглиночка — село!
Красноглинские робятушки
Гуляют весе-ло!

Попик-клопик, веселый человек! В жисть тебя не забуду!..

Мирон, облапив отца Владимира, потащил его в темноту.

— Ра-а-дуйтесь, праведные, о господе...

Славьте господа на гусях,
пойте ему на десятиструнной псалтири-и-и...

Скрипучий тенорок из темноты, в ответ сплошно:

Их! Сарафан красной,
Под ним дух квасной!..

Пугачев проворчал:

— Лошади с рогами... Кого только бабы не рожают.

Заложив руки в карманы, он зашагал от меня. В клубе заиграла музыка — тустеп.

Я потащился к себе.

За мной по темному небу, ленивенько пересчитывая трубы на крышах, плелась выщербленная луна.

Ушатков вышел победителем. Карающий перст вместо доказательства — преступник, распни его!

И ему поверили. Ему! Не мне и не Бехтереву! Почему?

Я остановился посреди дороги, остановилась сбоку от меня луна.

Нет духовного бессмертия! Есть оно! Два крайних утверждения, одно исключает другое. Нет или есть? Девицы в косыночках, парни в фуражках, выбирайте. А их выбор был сделан давно. Они с рождения слышали: нет бессмертия, поповские враки! Жизнь любого человека кончается могильным холмиком. Такова суровая правда, верьте и не смейте сомневаться.

А всегда ли очевидное истинно?

Очевидно, что Солнце кружится вокруг Земли, всходит на востоке, заходит на западе. Солнце кружится, а Земля незыблема — любой и каждый может узреть это своими глазами.

Очевидное рождало веру в самое фантастическое, в самое неочевидное. Гремит гром в небесах, в мягких на вид облаках что-то стучит, что-то гроыхает — твердое по твердому.

Очевидно же, все это слышат, нельзя сомневаться. И рождалась вера в некую фантастическую колесницу в небе, вера в бога, управляющего ею...

Или же... Люди неравноправны и зависимы друг от друга, раб целиком зависит от своего хозяина, хозяин раба зависит от сатрапа или прокуратора той области, в которой живет, сатрап зависит от царя. Явная очевидность, что над каждым старшим есть наистарший, значит, есть старший и над земными царями, тот единый, высочайший, выше кого уж быть не может. От кажущейся очевидности — вера в неочевидное, в незримого царя небесного.

Ушатков вышел победителем?.. Нет! Победила ползучая очевидность, победила привычка понимать, как подсказывали, собственно, победила вера. Ушатков лишь исполнитель: верь, бессмертия нет, посмей только не верить! И карающий перст на еретика — распни его!

Девицы в косыночках, парни в синих фуражках! Вы считаете меня верующим?.. Да, я пытался им стать, а вот вам не нужно было и пытаться, вы едва ли не с рождения верующие на свой лад. А быть истово верующим можно не обязательно в господа бога, но и в заблуждение, рожденное мнимой очевидностью, не только в обветшалое слово Христа, но и в карающий перст Ушаткова. «Блаженны нищие духом...»

Я прислонился к изгороди. Над погруженной в густую ночь Красноглинкой висели освещенные луной крыши. От клуба доносилась музыка — веселый и легкий вальс. Веселились парни и девчата, забыв о еретике, осмеливающимся отрицать привычную смертность.

С бесстрастной спесивостью смотрела с высоты луна, выщербленная и чеканная. Ей, луне, нынче спесивость не к лицу — укрощена. И я сейчас вдруг изумился тому, чему уже давно не изумлялся. Как бы в подлунной Красноглинке Ушатковы ни отстаивали смертность человеческого духа, там, на самой Луне на ее мертвой каменистой почве, покоятся сейчас диковинные аппараты — дети духа людского. Они ощупали Луну, сфотографировали ее ландшафт, передали на Землю — дух человеческий обогатил сам себя.

Давно я что-то не изумлялся людской дерзости, все больше страдал за людей, страшился...

Сияет над Красноглинкой вчekanенная в небо луна. Играет музыка в клубе. А мне приходится улаживать конфликт между мной и родом людским, между мной и всем мирозданием. Звал на подмогу бога — реши за меня! Бог не решил. Стою один под луной. В клубе танцуют вальс.

В прошлый раз я оправдал перед собой отца Владимира: мол, не столь уж ты неправ, незрелый отец, — пусть люди бездумно верят во что-то единое, от этого они легче придут к согласию.

Через веру?.. К согласию?..

Да истовому верующему просто невозможно договориться с другим таким же верующим, если их взгляды, их вкусы, их привычки хотя бы чуть-чуть, на малую толику, разойдутся.

Чуть-чуть всего...

Тот, кто верит и не допускает сомнения, как правило, крайне категоричен, как правило, нетерпим. С той же страстью, с какой утверждает: «Верую!» — он должен и отрицать: «Не верю! С моим не сходится!»

Вера никак не исключает неверия. Неверие не что иное, как негативная вера — две стороны одной медали.

Можно ли предположить, чтоб люди совершенно одинаково думали и чувствовали? Они обязательно в чем-то должны всегда расходиться друг с другом. Пусть чуть-чуть, пусть по смехотворным мелочам. Смехотворно расхождение — двумя перстами креститься или тремя, — но это уже был повод для непримиримой вековой вражды верующих, во имя двуперстия клали головы на плахи, сжигали себя.

К согласию?.. Через веру?..

Нет! Нет! Только к обоюдному недоверию, только к злобным непримиримым сварам!

Отец Владимир! Ты слышишь? Вера — это несогласие! Вера — это раздор! Вера — это неизбежная вражда!

Лишь те, кто способен подвергать сомнению взгляды и доводы, свои и чужие в равной мере, способны понять друг друга. И уж досадные мелочи не помешают их тесному общению, не станут причиной неистовой ненависти. Вера враждует, сомнение объединяет — не слишком ли парадоксально? В природе можно отыскать парадоксы и похлеще.

Музыка в клубе смолкла. Облитые луной крыши плавали над застойно плотной тьмой, залившей село. Я стоял посреди темной улицы, прислонившись к изгороди. Обломанная черемуха развесила свои большие рваные уши, вслушивалась в ночь. Где-то на другом конце села женский голос звал: «Марта! Марта! Марта!» У кого-то сбежала коза. От ближайшего двора доносились обреченно-тяжкие вздохи сытой и подоенной коровы. И еще далеко-далеко с полей — звук мотора запозднившегося грузовичка. Красноглинка — моя случайная Мекка, ехал сюда, чтоб обрести веру. «Иди туда, не знай куда, принеси то, не знай что...»

Инга! Инга!.. «Пойми, если можешь. Прости, если можешь. Если можешь, забудь». Инга!.. Инга!.. Чем я оправдаюсь перед тобой?

Я оторвался от изгороди, мои шаги влились в красноглинскую ночь. «Марта! Марта! Марта!..» И луна, побежденная человеком, покорно волоклась за мной следом.

Изба тетке Дуся ярко освещена. С темной улицы через оконце, никогда не знавшее занавесок, видна разверстая ночь, буйно сияет оголенная лампочка. При электрическом свете я не любил свое новое жилье, уж слишком назойливо лезли в глаза засиженные тараканы щели, изба казалась сразу гулко-пустой. Не любила яркого света и тетка Дуся, включала лампу по крайней нужде, обычно жила ощупкой.

Раз свет включен — значит, какой-то гость вместе с хозяйкой прячется в красном углу. Мне только сейчас не хватает гостя!.. Как раз по настроению вести беседу о том, что нет дождей, что туго пробивается картошка...

Нехотя я поднялся по крылечку, толкнул дверь.

На лавке, остолбенело вытянувшись, сидела сестра Аннушка, голова что чугуном для белья от намотанных платков, в просвете между платками мягким воском оплывающие щеки. Не взглянула в мою сторону, только шевельнулась, стала шарить рукой вдоль лавки, отыскивая прислоненную палку.

Тетка Дуся тоже встретила молча, обернулась ко мне — мягкие старушечьи губы сведены в скорбную ниточку.

Сестра Аннушка выдохнула:

— Ну, Евдокия... С богом я...

Нагнувшись вперед обмотанной тяжелой головой, с натужной дрожью в руках опираясь на толстую палку, оторвалась от лавки, туп, туп, пробуя палкой половицы, волоча галоши, подвязанные к опухшим ногам бечевой, двинулась к двери, прямо на меня. Взгляд мимо, в стенку, словно я не существую.

Я посторонился...

Тетя Дуся засуетилась:

— Дай-кошь, родимушка, провожу тебя. Лихим делом, ну-ка свалишься где на дороге.

— Добреду, не печалься.

— Хоть с крыльца помогу... О господи! Господи!..

Минут пять я стоял посреди пустой избы, ярко освещенной до последнего сучка, слышал возню на крыльце, приглушенное оханье. Наконец за провальными черными окнами — шаркающие шаги, тупые удары палки в ссохшуюся землю.

Тетка Дуся вернулась — губы, как прежде, в ниточку, прячет руки под фартук, стрельнула в меня глазом, отвернулась недружелюбно:

— Ну, чего столбом стал?.. За стол садись. Вечеряй, чем бог послал.

— Не хочу... Туши свет, глазам больно.

— Сядем-ко, сокол, разговор есть.

И я покорно сел.

Приткнулась и она на краешек скамьи, обвела взглядом свою обнаженную, словно вывернутую наизнанку избу, закачала головой, сразу помягчала лицом:

— Юрко! Юрко! Беда мне с тобой...

— Что случилось? Говори прямо.

— Вроде плохо ли мне с тобой — духом человеческим возля пахнет. Привыкла уже. С работы бегу, заботушку несую — а вдруг да ты раньше меня заявишься. За заботушку эту большое спасибо. Заботушка-то жисть красит. Ну-тко опять одной... Родной дом гробом кажется. Зимой особо, оглохнешь, пока рассвету дождешься. Врагу не пожелаю так век доживать...

— В чем дело?

— В том, любой, видно, Христом-богом просить тебя придется — ослобони, нельзя мне тебя держать дольше.

— Ты гонишь меня, тетя Дусь?

— Не гнала бы... Пошто мне гнать, ан нет, нужда заставляет. Уж больно ты для всех поперек. Я-то ведь всю жизнь в мире и ладе со всеми. Этим и держусь... Сам посуди, коль люди от меня откачнутся, что тогда?..

— Мешаю?..

— Все одно ты человек временный, долго здесь не проживешь. Иль, скажешь, не так, или корни тут пустишь?

— Не знаю.

— Да и знать нечего. Лист кленовый на елке до первого ветру — дунет, не ищи следов. Но вот ведь куда тебя отсюда повывудет, от меня всех шабров отвадишь. Моя-то компания известная — старухи да полустарухи. Цыкни на них сестра Аннушка, все задом повернутся. А Аннушку, любой, ты люто обидел, ни за что ни про что взял и лягнул копытцем. Из-за тебя и на меня Аннушка сердцем горит, а мне с ней не ладить расчёту нет. Все мое знакомство под нею. Так подведет, что занедужь, случаем, — водички испить никто не поднесет. С тобой теперя мне вроде и потеплей, да как бы потом зябнуть не пришлось. Так что не обижайся, любой, а пожалей меня, бобылку горькую. Не руганью, не укором, добром прошу — оставь! Невелик мой век нынче, но какой-никакой, а наперед думай, как докоротать... Что ж уж, золото, сам разумеешь, не неук какой...

Вот это, называется, дожил, даже тетка Дуся гонит от себя. Не ко двору в Красноглинке пришелся.

— Потуши свет, тетя Дусь, глазам больно.

— Охо-хо! Лица на тебе нету. Бедолага ты чистая. Чую, сам себе тошнехонек.

— Верно, сам себе...

— Охо-хо!

Она встала, щелкнула выключателем. Темнота, густая душная темнота, напоенная запахами коровьего поила и суточных щей. Но в этой темноте мне все-таки легче — отгораживает от недружелюбного мира, не вижу помятого и расстроенного лица тетки Дуси.

В косматом сумраке бревенчатого угла тетка Дуся снова затеплила огонек лампадки. И словно нет за стенами сутолочного, буйного двадцатого века, века мировых войн и космических полетов, мятежной науки и косной политики. Лампадка светит из далекого прошлого, скользит тень по занавеске.

У тетки Дуси, наверное, неспокойно на совести — привыкла ко мне и гонит от себя. Всевышний опекун слушает старушечий шепот.

Я вспомнил тот единственный случай, когда среди ночи разоткровенничался перед иконами: «Верую, господи, что существуешь. Верю, что есть какой-то великий смысл, какая-то конечная цель. Не рассчитываю понять их...»

Теперь мне странно и стыдно...

Сочное зернышко света над занавеской, не доходящей до потолка, размытая

колышущаяся тень, шепоток...

Тетке Дуся и на самом деле трудно без опекуна, сама себе придумала сказку, время от времени убегает в нее от постылой жизни.

...Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.

Но прятаться в сказку, убегать в золотой сон, в мираж — значит соглашаться: законно, что жизнь несносна, и нет нужды пытаться сделать ее лучше, золотой сон — выход. А золотой сон можно навеять и не молитвою, надежней и проще — порцией морфия, гашиша, крупницей ЛСД, бутылкой самогона, на худой конец.

Зачем действовать, зачем чего-то добиваться, чего-то доказывать свое другим, искать с ними сближения — хлопотно, требует энергии, проще прятаться от людей. Прятаться и проповедовать: «Люби ближнего твоего...», «Люби, убегая от людей в мираж, прячься в сказку. Люби из-за угла, из-за глухой стенки... Люби ближнего и избегай его!»

Тетка Дуся поднялась, побряхтывая, пробралась на лавку, я увидел поверх занавески ее лицо, освещенное огоньком лампы, — острый синичий нос, ввалившийся рот, дряблые щеки. Лицо доброй, бесхарактерной старой женщины, измученной жизнью, — будничное лицо. Огонек погас, тетка Дуся слезла с лавки и еще долго шуршала, побряхтывала, упрятывала себя на ночь.

И мне вдруг пришла в голову крамольная мысль: а не опасна ли для общества такая вот тетка Дуся?

Да, она никому не способна причинить зло, а ей может причинить любой — безобидна и беззащитна. И это вызывает сочувствие, это нравится. Просто потому, что рядом с такими Дусями покойно: не укусят, не подставят подножку, даже больше того, на них можно сесть верхом — повезут из последних сил.

А не должно ли каждого из нас настораживать, что в нашем мире безобидность и беззащитность почитается, как заслуга. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное». Не богатые духом, не сильные волей, а блаженны нищие... Они идеал для узурпатора. Покорные, безвольные, всепрощающие тетки Дуся, не способные обидеть и мухи, несут миру своим кротким существованием заразу насилия.

Тихо в избе, тихо в себе, где-то над крышей стоит луна, верный мой сторож. Сна нет, напористо толкутся безжалостные мысли.

Верую и не допускаю сомнения, верую без оглядки, без проверки, не пытаюсь задуматься, лишаю себя права умственно развиваться. Мир, населенный верующими, охотней прислушивается к пророкам, проповедующим доступную глупость, за ними идут, их выбирают в вожди. А дерзкие умом, прозорливые, те, кто лучше других способен предвидеть бедствие, указать, как избежать его, отвергаются, если не бросаются на костры. Естественный отбор, где выживает недомыслие!

Вера как панацея от бед человеческих! Стремился к ней, теперь становлюсь ее судьей, ее обвинителем.

Растет к вере тяжелый счет. Вера в единое — в единого ли бога, в единую ли обожествленную личность, в единые и непреложные догматы — сплачивает людей: мол, единое же! Но люди не способны мыслить единообразно, неизбежны какие-то разногласия, среди допускающих сомнения это не опасно, среди верующих — непримиримая вражда. Вера и вражда тесно соседствуют!

Растет к вере тяжелый счет. Прими веру как панацею, ополчись против сомневающихся — и произойдет естественный отбор: посредственность обретет силу и выживет, дерзкий ум погибнет. Не страшно ли?..

Когда-то, в свой первый красноглинский вечер, я молитвенно слушал шепоток тетки Дуся и удивлялся, что находятся такие, кто считает своим долгом отобрать у этой старой женщины ее бога, — не смей, опиум! Легко ли без опиума осилить тетке Дусе одинокую жизнь?

Да, нелегко! Наверное, с опиумом легче! Одурманить себя, притупить всякое чувство — не страдать, не болеть, не отчаиваться, не ощущать в полную силу жизнь. Легче? Да! Но легкая жизнь не есть жизнь достойная. Напротив, за возможность легко прожить и продаются обычно и человеческое достоинство, и всеобщие интересы.

Девушки в косыночках «Пусть всегда будет мама!», парни в синих фуражках! Не верьте слепо, тупо, без оглядок ни Христу, который требовал: «Возлюби!», ни Ушаткову, который требует «Ненавидь!».

Помните, жизнь сложная, в ней никак нельзя ограничиться чем-то одним — или всепрощающей любовью, или всесокрушающей ненавистью.

Девушки в косыночках, парни в синих фуражках! Не зову вас к тому, чтоб любили вполсилы и вполсилы ненавидели. Нет! Любите и ненавидьте в полный накал, но только знайте, что любить и что ненавидеть, что и когда! В этом-то и заключается искусство жить. Пророки не обладают таким искусством — крайне предвзяты, не объективны, все пророки от Христа до Ушаткова!

Воздух начал дымчато сквозить, проступали закопченные пазы в стенах, тараканы щели... Тихо в избе, тихо в селе и гневный бунт внутри меня, набатные мысли.

В тихие предутренние минуты свершилась революция: «Сожги то, чему поклонялся, поклоняйся тому, что сжигал...» Поклоняйся?.. Да нет, хватит! И сжигать прошлое нельзя. Пепел не помнит, а помнить надо, забывчивость — та же слепота.

* * *

День для меня начался со стука в окно:

— Дуся! Эй! Жильцу твоему письмо возьми!

И меня, полусонного, сорвало с постели.

Письмо... Дрожащими пальцами держу конверт. Сам конверт знаком — семейный, еще в прошлом году купил несколько почтовых наборов с такими вот гладкими конвертами, без украшающих рисунков, не разграфленных стандартно на «куда» и «кому». И почерк знаком до удущья, тесно составленные, старательно выписанные буквы — рука Инги. Обратного адреса ей не писал — «если можешь, забудь», должно быть, узнала его по почтовому штемпелю. «Широка страна моя родная», но не так уж и трудно отыскать в ней затерявшегося человека.

Письмо пришло в Красноглинку еще вчера. Я выступал в клубе, а оно уже лежало в почтовом отделении, уже готово было ринуться на меня.

Трясущимися пальцами я разорвал конверт.

«Кажется, прошло... Кажется, я пришла в себя настолько, что могу взять в руки перо, в состоянии отобрать какие-то вопросы — из тысячи немногие, самые важные.

Почему я оказалась чужой для тебя? Только от того, к кому не испытывают родственности, даже элементарного дружеского доверия, можно столь долго таиться и прятать свое. Ты же прятался от меня не день, не неделю — долгие месяцы, возможно, годы. Нужно, наверное, чувствовать затаенную враждебность, чтоб выдержать столь длительную скрытность. При малейшей симпатии рано или поздно настала бы светлая минута откровения. Чем вызывала я у тебя такую беспросветную враждебность?

И почему предательство?

Даже с врагом поступать предательски недостойно.

Ты ничего не сказал, ты просто сбежал! Ты поступил, как предатель. А

сбежав предательски за сотни километров, ты и там не можешь набраться смелости, в своем письме выкручиваешься, вывертываешься, прячешься за словами: „Как всякий нормальный человек, я свято верил в торжество разума...“ Какой стиль! Какой пафос! Какая выпренность! Трусливая ложь! Уж это-то зачем?

Сказать, что я ничего не видела, ничего не чувствовала, не подозревала, — нет! Чувствовала — с тобой что-то творится, ждала — откроется, значит, и уладится. Думалось, любовь — слишком высокое чувство, а долго тянуть высокую ноту нельзя — выдохнешься. Думалось, спад законен, перемелется со временем, наступят ровные родственные отношения, но получить это годами выношенное предательство — нет, этого, признаюсь, не ждала. Слишком чудовищно!

Бог? Вера?.. Пусть даже так, убийственно странно, но допускаю.

Но опять же вера-то твоя замешена на лжи, на трусливой лжи к близким людям. Просишь: „Пойми, если можешь, прости, если можешь“. Нет, не пойму, потому что всегда представляла тебя иным — не лживым и не трусливым. Нет, не смогу простить. К себе предательство, куда ни шло, может, и простила бы, но к дочери... Я-то сама, возможно, и заслужила — почему бы не предположить и такое, — но дочь-то наверняка ничего не смогла свершить, чтоб быть отвергнутой отцом, быть преданной тайком!

Не все выложила, все невозможно, но на прощание скажу: если и вправду у тебя появился бог — а не другая баба! — то я презираю этого бога. Любый нормальный человек отвернется от него, холодного, черствого, аморального, допускающего — родитель, предай ребенка, затопчи отцовскую любовь!

Инга».

Внизу приписано:

«Ты разрушил так много, что пусть тебя не мучает совесть о малом. Будешь ли помогать мне воспитывать Таню или не будешь — я свою дочь как-нибудь вытяну. Через суд взыскивать алименты не хочу — противно требовать помощи от того, кого не уважаешь. И слезные отговорки — зарабатываю себе хлеб ломом и лопатой — ни к чему. Зарабатывай хоть благочестивыми проповедями, надев рясу. Да поможет тебе твой завидный бог!»

Письмо пришло в Красноглинку еще вчера, во второй половине дня. Еще вчера я судорожно хватался за рассыпавшегося бога, жаждал веры. Прочитай это письмо вчера, я, наверное, пытался бы оправдаться — не смей так думать! Не лгал, не был трусом! Сегодня, право, не осмелюсь.

За ночь я пришел к выводу: с верой возникает естественный отбор, где выживает недомыслие. А в наш сложный век глупость уже не просто досадный изъян, сегодня глупость безнравственна! Я наделал глупостей, Инга вправе упрекнуть меня в безнравственности, не осмеливаюсь ей возразить.

Когда покупал билет до Новоназываевки, я знал, что совершаю предательство. Но считал: последнее предательство, чтоб больше никого не предавать! «На том стою и не могу иначе!» Стоял, честно держался до последних сил, уговаривал себя: иначе не могу!..

И крошилась земля под ногами.

Конечная цель — краеугольный камень! А Густерин, странный председатель, читающий в свободные минуты исследования Веселовского об опрочинине, выбил этот камень из-под меня с легкостью... Камень, подпиравший бога...

«На том стою...» Стою-то, оказывается, на пустоте — падаю, еще раз отказываюсь от убеждений. Выходит, еще раз — предательство? Предаю убеждения? Да нет, на этот раз — пустоту.

Письмо... Я его ждал, я его боялся... Оно действительно страшно. Но странно, когда это письмо проглочено, страх мой прошел, руки не дрожали больше.

Что ж, все сказано, над старой главой поставлена точка, теперь надо начинать новую.

Начну. Она не поразит свежестью и оригинальностью, эта новая глава моей жизни, она будет построена по избитому сюжету блудного сына.

Не имею права на гордость, не имею права отстаивать собственное достоинство — сноси упреки и презрение тех, кого предал. Первым моим оправданием может быть только: «Прости!» Инга должна понять, что я переболел, и «не хрипотой, не грыжею», не головокружением от юбки. Наверное, любая болезнь достойна прощения, а эта тем более. Прости, Инга, и пойми! Должна понять, должна еще раз мне помочь в жизни. Старая притча о блудном сыне.

Я спокойно спрятал письмо — решение принято, почувствовал себя собранным.

Тетка Дуся бросала на меня от печи испытующие взгляды. Она по-бабьи догадывалась, что письмо — первое письмо за мое пребывание в Красноглинке! — не может быть просто листком с пожеланиями доброго здоровья. Казалось, она была разочарована: ни великой радости на моем челе, ни огорчения, спокойнешенек, — и насторожена: «Ой ли, так ли все гладко, сокол?»

— Садись за стол, болезный. Яишенку тебе сегодня сготовила и вот... расстаралась.

Передо мной встала широкая сковорода и четвертинка водки. Это проводы, тетка Дуся за ночь не изменила решения, по-прежнему желает, чтоб я оставил ее дом, морока со мной.

Оставлю, но не сию минуту. Прощусь с Красноглинкой, с Густериним.

Я налил водки:

— Не поминай лихом, тетя Дуся.

— Пей на здоровьице, соколанушка. Прости меня, старую, непутевую.

Старуха придавила концом платка слезинку.

* * *

Я бросил в угол рабочие брюки Пугачева, вернее, уже остатки брюк, резиновые сапоги вынес в сенцы — сдам при расчете, натянул хоть мятую, но чистую сорочку, пахнущую не бражным потом, не землей Красноглинки, а забытым запахом городского гардероба, влез в свой московский костюм.

Кончен маскарад, как мог, сыграл роль землекопа, никому не нужную роль.

Хочу домой, хочу покоя, любви Инги, хочу рассказывать дочери сказки, хочу быть прежним!

И все?

Нет, не все! Нужно еще на одно ответить себе: что мне делать?

Только любить Ингу и только рассказывать: «Избушка, избушка, стань ко мне передом»?.. Дожить до старости, почить в мире? А где-то стороной будет идти жизнь, где-то будут страдать люди, что-то искать и находить, торжествовать и разочаровываться, идти на сближение друг с другом и враждовать вплоть до мировых кровопролитий. Где-то, мимо... Не превратишься ли ты в таракана, забившегося в щель, выживающего благодаря своей неприметности? И станет ли любить Инга таракана?..

Человек не может считать себя полноценным, если он не чувствует, что как-то нужен всем без исключения людям на земле. Нужен — докажи делом. Так что же я собираюсь делать, кроме как любить Ингу, развлекать сказками дочь?

Засесть за свою книгу о гравитации, славить науку?..

Я презирал Олега Зобова, талантливого парня, который скоро получит степень доктора, к концу жизни, не исключено, сядет в кресло академика, презирал за то, что он убежден — наука не осчастливит, — убежден в этом и служит ей. Презирал его поведение, а не взгляды. Со взглядами Олега и не хотел бы, да соглашаюсь. Наука поможет изобрести удивительные машины, завоевать иные планеты, одарить людей дешевой энергией, она — готов верить! — поможет даже накормить голодающих. Но мне-то хорошо известно, что сытые столь же не защищены от несчастий, как и голодные. «Люби ближнего твоего...» А насчет любви наука слаба.

Блудный сын вернется.

Но что же он будет делать?.. Славить науку, как славил прежде?

Ой, не знаю...

Я шагал по красноглинской улице, стараясь пошире расправить плечи, выразить лицом снисходительную независимость, — все для того, чтоб заглушить свербящую неловкость.

Глядите все, вот идет Юрий Рыльников, тот, кого вчера принародно уличили мракобесом, на кого указали перстом — берегитесь, опасен! Так что ж, берегитесь, добрые люди! Добрые и свято верящие персту Ушаткова. Вот он! Во всем параде перед вами, глядите, потом будет поздно — лошадь с рогами.

— Здравствуйте, — баба с ведрами, живет через три дома от тетки Дуси, зовут ее Настей, по утрам вот так на улице встречаемся.

— Здравствуйте...

Это не значит, что мы знакомы. Мы просто знаем друг друга в лицо. Но если б даже меня и ни разу не видела, все равно бы поздоровалась. Вежливое «здравствуйте» — для чужаков.

Уступают нехотя дорогу куры. Даже кур «знаю в лицо». И тропинки, пьяно-именинные красноглинские тропинки, и обдугые до стального цвета крыши... Все-таки я сжился с Красноглинкой. И вовсе не понимаю, почему оставляю здесь врагов и не оставляю друзей.

Последние шаги по красноглинской земле, тугой земле, которую испробовал своей лопатой. Впереди Москва. Она меня может встретить тоже как чужого. Воистину, ни в городе Иван, ни в селе Селифан, заблудшая душа.

На дороге кучка парней — клетчатые рубахи, небрежно наброшенные на плечи выгоревшие пиджаки, чубы из-под фуражек, заломленные в зубах папиросы. И Гриша Постнов среди них — ворот нараспашку, рукава закатаны выше локтей. И тот, с вывернутыми ноздрями, тоже тут не в синей фуражке, в старой кепке.

Они вряд ли специально ждали меня, просто случайно оказались на пути. Они не ждали меня, но я — то ждал такой встречи, потому и расправил плечи, старался выразить на лице независимость.

Расставленные ноги, руки, запущенные в карманы, прищуренные глаза и румянец пятнами на скулах Гриши Постнова.

Наверное, ухмыляясь, отпустив шуточку, они пропустили бы меня, если б не моя наигранная независимость. Ее нельзя было не заметить. Кто-то сделал шаг вперед, кто-то развернулся грудью ко мне, легкое шевеление — и поперек дороги встала стенка. Я подошел... Прямо передо мной — широкая грудь в клетчатой рубахе, нависающий тяжелый подбородок, шапочно знакомый мне тракторист Ваня Стриж, он как-то привозил на наше строительство лес. У крутого Ваниного плеча — Гриша Постнов, цветет скулами, пепелит меня из-под ресниц.

— А здороваться не положено святым апостолам? — грозно спросил Ваня Стриж.

— Здравствуйте, — сказал я.

Вчера после лекции передо мной расступились — поверженный, лежащий, нет нужды ни бить, ни ругать такого. Сегодня я ожил, гляжу прямо, отвечаю без робости, держусь независимо — непорядок, должен быть тише воды, ниже травы.

— У-у! — промычал парень в синей фуражке на этот раз уже сердито. — Дай ему, Стриж!

— За что? — спросил я.

— За красивые глазки, — ответил Стриж.

— Ну тогда, конечно, стоит, — согласился я.

Мое спокойствие Ваню Стрижа озадачивало, он насупливал белесые брови, выдвигал на меня тяжелый подбородок. Гриша Постнов поиграл желваками, произнес глухо:

— Он тебя, Стриж, все равно переговорит — грамотный, институт прошел.

Гриша, видать, никак не мог простить, что институт достался мне, не ему.

— Грамотный, а невежливый, первый «здравствуй» не скажет, — Стриж не отличался изобретательностью, не находил веского повода, чтобы исполнить благой совет — «дай ему».

А вокруг уже собирался красноглинский народ: несколько девчат с граблями, голенасто загорелых, в легких платьицах, старухи в белых платочках, остановилась в стороне лошадь, степенный мужик, не слезая с телеги, принялся неторопливо свертывать сигарку, и вездесущие ребятишки просачивались поближе к центру события. На глазах стольких зрителей Ване Стрижу нельзя было ударить лицом в грязь, но, наверное, неудобно просто так, не за будь здоров, отпустить сплеча.

Гриша Постнов нашелся.

— Пусть признается при всех, что мракобес, — подсказал он.

— Верно! — обрадовался Стриж и незамедлительно забрал в лапу на моей груди городскую сорочку. — А ну!.. Давай! Я мра-ко-бес! И громче, чтобы все слышали.

— Ты дурак, Стрижов!

— Мотри!

— Что я тебе говорил? — подбросил Гриша Постнов.

— Ну!.. Кому сказано?.. Я мракобес!

— Иди ты!..

— Дай ему!

И Ваня Стриж, помаргивая белесыми ресницами, стал отводить крутое плечо. Ему явно не хотелось бить меня, но... престиж.

— Семя иродово! Стойте!..

Ваня Стриж опустил кулак. Старухи и девчата расступились. Высоко держа голову, пухлая грудь вперед, палка на весу, громко сопя, тяжело волоча по земле подвязанные бечевой галоши, появилась сестра Аннушка.

— Сгинь, бес! — ткнула узловатым костылем Ваню Стрижа. — Сгинь, нечистый!

— Чего! Ну, чего!.. Ишь, вылезла спасительница, — заворчал Ваня, отступая.

— Иль меня, старуху, кулачищем своим?..

— Да ну вас обоих... Тьфу!

Сестра Аннушка встала передо мной, желтое лицо запрокинуто, под студенисто заплывшими веками лихорадочно мельтешат глазки, палка с воинственной решимостью всажена в землю — спасительница!

Дернулась лошадь, ужаленная слепнем, мужик прикрикнул:

— Стой, шалава!

И снова тихо. Вокруг жаркое дыхание и ждущие взгляды.

— Ты, голубчик, обидел меня... — начала грудным, звучным голосом сестра Аннушка. Ее плоское нездоровое лицо выражало бесстрастность, а глаза суетно жили. — Обидел, и сильно. Никто, поди, в последнее-то время так не обижал меня...

Конечно же, за спасение от кулака Вани Стрижа мне надлежало выслушать проповедь.

— А вот я зла не держу... Ты вот безбожницей меня обозвал да язычницей: мол, Христа в тебе нет. Ан нет! Ты обидел, а я к тебе готова по завету нашего учителя: «Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другу...»

Запрокинутая голова, грудной с сипотцой и одышкой голос, величавая осанка расплзшегося тела, и в щелках век обжигающий блеск глаз.

— Злыдня я, да еще своекорыстная! Чего не приплел... А я... Я вот сношу, я ничего...

Обжигающий блеск глаз — и смиренная речь.

— И народа я не стыжусь. Не-ет! Пусть видят, как слово господне меня от лютоги оберегает, как кротость я себе вымолила. Пусть видят — чистая я от злобы, благодать божью в себе несу. Ты меня попреком вострым, а я тебя любовью...

А глаза сквозь щелки выдавали иное, глаза неистово горели, и не кротостью, не любовью. Ни Гриша Постнов, ни простоватый Ваня Стриж со своими пудовыми кулаками не вызывали во мне особой неприязни. Они что чувствовали, то и выражали. В искренности им

не откажешь. А тут перед всеми шла игра — злоба притворялась доброжелательством, ненависть — любовью. Игра на людях.

— Вот ты молчком, голубь, стоишь, не знай что думаешь. А я и на это не обижаюсь. Сказано в писании: «Допрежь, чем бога славить, пойди и помирись с братом твоим...» Вот и я с миром к тебе. При всем честном народе... Я даже... Я и поклониться тебе могу. При всех...

И сестра Аннушка и в самом деле откачнулась картинно, шумно набрала в грудь воздух, отбила мне земной поклон.

Это было уже чересчур. Я не выдержал и рассмеялся. Мне в ответ радостно подвизгнул какой-то парнишка.

Сестра Аннушка медленно распрямилась. Ее лицо было кирпичным, но постепенно темная кровь стала отливать, растопленно-восковые щеки стали бледнеть до зелени, до трупной голубизны. Изрытость проступила на ее водянистой коже. Щелки век раздвинулись, злые глаза обжигали.

— Бе-ес... — чуть слышно прошептала она.

Мне стало неловко за свой смех, я попытался оправдаться:

— Не творите милостыни перед людьми с тем, чтобы они видели вас...

— Бе-ес!! — взвизгнула она и вскинула над головой палку. — Бе-ес! Бе-ес!!

Она надрывно визжала, а все молчали.

— Бе-ес!!

Мне было неловко и противно.

— Бе-ес!!

Провожаемый удивленными, настороженными, неприязненными взглядами, я осторожно обогнул визжащую сестру Аннушку.

— Бе-ес!! — летело мне в спину.

Красноглинка — моя случайная Мекка. Приехал сюда искать единомышленников.

Как все это нелепо, как глупо!

— Бе-е-ес!

1969

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)